



Борис Носик

Пионерская Лолита (сборник)

«Автор»

2008

Носик Б. М.

Пионерская Лолита (сборник) / Б. М. Носик — «Автор», 2008

Борис Носик известен как биограф Ахматовой, Модильяни, Набокова, Швейцера, как автор популярных книг и телевизионных фильмов о Франции, как блестящий переводчик англоязычных писателей, но прежде всего – как прозаик, умный и ироничный. «Текст» выпускает его четвертую книгу, в которую вошли повести и рассказы, написанные на протяжении тридцати лет. Герои Бориса Носика – люди часто нестроенные, иногда нелепые, но всегда внутренне свободные. Свобода характерна и для авторского стиля – в нем уживаются легкий юмор и едкая сатира, внимание к бытовым деталям и безудержная фантазия.

© Носик Б. М., 2008

© Автор, 2008

Содержание

Пионерская Лолита	5
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Борис Носик

Пионерская Лолита

Повести и рассказы

Пионерская Лолита

И.О. с любовью

Пионерские тексты, встречающиеся в этой повести, собраны кафедрой педагогики и комитетом ВЛКСМ столичного пединститута имени Ленина и опубликованы ими в «Сборнике методических и практических материалов: Студент – вожатый отряда в пионерском лагере» (составители Гончаров, Николаев, Пантелеева, Кузьмин, отв. ред. Каспина В. А.), Москва, 1969 г., часть 2.

Автор приносит благодарность коллективу кафедры и комитету ВЛКСМ, сделавшим достоянием читающей массы эти ценные тексты, служившие доныне лишь узкому кругу пионеров и педагогов.

В сущности, эта поездка в лагерь была для библиографа Тоскина спасением – иначе он с неизбежностью угодил бы под сокращение штатов. Впрочем, может быть, спасением лишь временным, потому что сокращение грозило продолжиться осенью. Да и кому, честно говоря, нужны все эти библиографические кабинеты, если книг становится с каждым годом все меньше? Впрямую Тоскину о сокращении еще ничего не говорили, так что, объясняясь с собой, он мог придумывать какие угодно мотивировки, почему он согласился сюда поехать. Он согласился, скажем, потому, что ему надоело торчать в городе и представилась наконец возможность провести лето в деревне. Он согласился, потому что любит детей, – и это чистая правда. Он согласился, потому что в душе он – просветитель, а тут ему представляется возможность просвещать юные души, сеять разумное, доброе, прочее. Он согласился, наконец, потому, что не знал, как отказаться, когда предлагает начальство, как вообще отказывают начальству. Еще он согласился, потому что, как все библиографы и критики, считал себя в душе немножко писателем. Задавая себе вопрос, какой он писатель (в душе), он отвечал (себе же), что, скорее всего, он писатель детский, так что для него естественным был этот выход к материалу, тематике, детской аудитории.

Так или иначе, Тоскин дал согласие и был откомандирован педагогом в пионерский лагерь, обслуживающий КБ некоего ББ, закрытого предприятия, связанного с их бибкабинетом какими-то шефско-профсоюзными и комсомольско-партийными узами (о последних Тоскин знал совсем уж мало, поскольку был беспартийным и давно вышел из комсомола, так что, если бы не все приведенные выше резоны, он мог бы от такого летнего времяпрепровождения спокойно отказаться).

И все же, что ни говори, это было приключение, и он был теперь доволен, что согласился, даже сегодня не сожалел, в день выезда, день умопомрачительной суеты, когда вдруг показалось, что детей слишком много, что они слишком неорганизованны и что организовать их просто не представляется возможным. «Сэ тро», как выразилась худенькая пионервожатая Вера Чуркина. «Это уже слишком». Она сказала это по-французски, потому что была студенткой французского факультета, без пяти минут учительницей, и Тоскину, который французский язык (как и другие европейские языки) знал весьма умеренно, это «сэ тро» показалось более

выразительным, чем русское «это уже слишком»: приятен был также тот факт, что незаметно – миловидная Вера произнесла это вполголоса, лично для него – наметился таким образом некий интеллектуальный контакт, ибо французский язык сам по себе был уже признаком образованности, если не целым образованием. Утешительно для Тоскина было и то, что не он один ощущал растерянность среди нынешнего столпотворения, а эта милая Вера тоже. Разглядев ее внимательней, Тоскин нашел, что она прекрасно сложена и очень мила (для Тоскина составлял предмет постоянного удивления и даже повышенного патриотизма тот факт, что при внимательном рассмотрении столь многие русские женщины содержат в себе нечто весьма привлекательное и достойное всяческого внимания). Справедливости ради Тоскин отметил про себя и тот факт, что они с Верой могли предаваться своей растерянности именно потому, что нашлись люди, которые в этой неразберихе и многолюдье чувствовали себя, как рыба в воде, – признанные полководцы и вожаки несовершеннолетней массы. Таков был отставной майор, начальник лагеря. И таков был старший вожатый Слава, атлетически сложенный, с правильными чертами лица и отлично поставленным голосом, словно бы специально созданным природой для таких вот случаев или детских профсоюзных елок где-нибудь во Дворце спорта. Славе удалось согнать эту массу в отряды, а потом разогнать ее по соответствующим автобусам, отделив от самых приставучих из родителей, которые устроили из этого события нечто вроде надрывных солдатских проводов. Позднее, уже на территории лагеря, Слава так же успешно сгонял и разгонял эту массу детей, пока наконец каждый из них не получил свое место в отряде, в спальне, в умывальной, в столовой и даже в уборной.

Только тогда, отправив детей на мертвый час, руководители смогли наконец оглядеться, перевести дух и собраться (с некоторым даже чувством одержанной победы) на первую летучку-планерку в кабинете начальника лагеря. Сидя за столом совещаний, Тоскин впервые рассматривал изблизи своих коллег... Вот жизнерадостная воспитательница Валентина Кузьминична, в зимнюю непогоду учительница русского языка где-то в глуши московских новостроек, женщина с могучим крупом и набело перекрашенными волосами. Вот вожатый Валера, который, конечно, не дотягивает до Славиного совершенства, но, без сомнения, к нему стремится. Вот старшая повариха, женщина с очень большой грудью и профессионально румяным лицом. Вот физкультурник, молчаливый сухопарый человек с лицом, изможденным бессмысленными физическими упражнениями. И наконец, вожатая Вера Чуркина – она застенчиво примостилась на краю стола, приготовив карандаш, чтоб записывать мысли начальника.

Начальник был весел и преисполнен энергии. Тоскин подумал, что он, может быть, после долгого перерыва получил наконец в свое распоряжение руководимые массы и мог предаваться привычному делу руководства. Во всяком случае, он начал свою речь со вкусом и с удовольствием:

– Итак, товарищи педагоги, – я всех вас называю педагоги, потому что партия всем нам доверила большое воспитательное дело, – итак, начнем, пожалуй, как говорил наш командир полка. Надо всем и каждому составить план работы и вручить его завтра или послезавтра в шестнадцать ноль-ноль Славику... – Слава серьезно кивнул. – И с ходу начнем развернутую подготовку к открытию лагеря. К нам могут приехать товарищи из завкома или даже из райкома. И во главе угла, товарищи, надо нашему новому лагерю дать свое наименование, потому что лагерь без наименования – это... – Начальник задумался. – Это как офицер без звания, вот как. Школьный отдел райкома предложил назвать лагерь именем пионера Руслана Карабасова – у них есть список, предусматривающий, чтоб все лагеря района не называть одинаковым названием – «Космос» или, скажем, «Ракета». Какие будут предложения, товарищи педагоги?

– В порядке справки, – сказал Слава, – Руслан Карабасов – это был маленький герой и мститель во время Великой Отечественной войны.

– Так и назвать «Пионерский лагерь имени пионера-героя Руслана», и дальше даже по отчеству и фамилии, – предложила Валентина Кузьминична.

– Очень длинно, – сказал Слава, – мне художнику заказывать материи не хватит.

– Может, «Маленький герой», романтика чтоб была, – предложил Валера, и тут все посмотрели на Тоскина, потому что он был в некотором роде литератор, во всяком случае, работал в каком-то там гуманитарном кабинете, где маленькая зарплата.

– Да вот так и назвать, – сказал Тоскин с небрежностью человека, получающего маленькую зарплату, – «Маленький герой». Или как вы еще сказали, Слава, кто он был?

– Юный мститель.

– Вот-вот, очень романтично, «Юный мститель», – проговорил Тоскин, смутно припоминая какое-то книжное заглавие (ибо значительную часть его эрудиции составляли именно заглавия, с аннотацией или без): С. Иванов, «Юный мститель», издательство ДОСААФ...

– Понятно, – сказал начальник, – после тихого часа весь личный состав прошу на полдник. И поторопиться с планами. Задача поставлена.

– За работу, друзья, – с энтузиазмом сказала Валентина Кузьминична. – Помните, как там у Горького...

Никто не стал помогать, как там было у Горького, да Валентина Кузьминична не очень настаивала. Может, она уже и сама забыла, как там у него было написано, у Горького, и зачем.

Выйдя с планерки, Тоскин решил прежде всего оборудовать для себя приватный кабинет где-нибудь по соседству с так называемой «пионерской комнатой» – обширной верандой, оформленной по образцу полковых «ленинских комнат», то есть размещающей на своих стенах наибольшее количество печатных и от руки написанных пропагандистских материалов. Объясняя значение пионерской комнаты, начальник лагеря указал, что это «лицо» лагеря, по которому посторонние смогут судить об уровне боевой и политической подготовки (мирная терминология пока еще давалась начальнику с трудом). Надо сказать, что в надписях и лозунгах, украшающих стены, Тоскин обнаружил большое количество пока еще не вполне понятных для него терминов. Это были лингвистические отложения быстроменяющихся организованных кампаний и взрослых «придумок», направляющих детскую жизнь в общественно-полезное русло: «Светлые задумки – красным следопытам!», «По красным ступенькам в грядущую явь!», «Никакой халтуры – в сборе макулатуры!», «Дорогами отцов – путями эстафеты качества и зеленых патрулей!», «Для каждого сердца святы страницы...» (сами страницы на этой стене уже не уместились).

Поняв, что близ этой комнаты и будет протекать его трудовая деятельность (или – хотелось бы думать – имитация трудовой деятельности), Тоскин принялся искать индивидуальное логово. И вскоре нашел его. Одна из трех дверей пионерской комнаты была наглухо загорожена большим, во всю стену, стендом «Маршруты семилетки», в результате чего за пионерской комнатой образовалась малюсенькая веранда со специальным входом и крылечком, осененным молодыми кленами. Поскольку никто не посчитал этот лишенный своей прямой функции вход в пионерскую комнату за отдельное помещение, о нем и вовсе было забыто. Сторож, на основе личной договоренности (и личной же благодарности размером в три рубля), изготовил для Тоскина внутренний и наружный запоры к этой двери. Затем Тоскин притащил из заброшенного сарая маленький столик и портреты. Он заставил окна изнутри большими портретами Пушкина, Достоевского и Дзержинского, придав, таким образом, своему логову одновременно и внушительность и интимность. Других портретов Тоскин просто не смог отыскать в сарае, который он подверг разграблению. Теперь у Тоскина был свой уголок, и притом уголок достаточно укромный, что было очень важно для самой организации труда, ибо Тоскин установил в результате своей долгой трудовой деятельности, что никто не должен с точностью знать, чем ты занят и сколько времени ты затрачиваешь на ту или иную трудовую операцию. Он знал, что открытое безделье так же, как всякое занятие, не связанное напрямую с выполнением производственных заданий, подвергает тебя опасности гонений и дополнительных нагрузок. Посильная же конспирация приносит тебе как максимальное освобождение от постылых трудов, так и

внутреннюю свободу. Эти полезные сведения Тоскин приобрел еще на заре своей трудовой бездеятельности, на армейской службе. И так как даже тогда у него не было юношеской амбиции прослыть лихим сачком и филоном, не было никакого геройского тщеславия, то он уже тогда ухитрялся без труда имитировать простейшие трудовые движения (от чистки картошки до чистки оружия), глядя при этом мимо рук – в книгу, раскрытую на коленях. В этой имитации бесталанного послушания и трудовой малопригодности протекала впоследствии вся взрослая жизнь Тоскина, слывшего когда-то, в ранней юности, многообещающим студентом...

Закончив оборудование своего гнездышка, Тоскин решил, что теперь он очень быстрым и деловым шагом пройдет по территории лагеря и покажется во всех отрядах, так сказать, в русле подготовки к открытию, а уж затем окончательно окопается у себя на верандочке в тени Достоевского с Дзержинским.

У соседнего финского домика вожатая Вера строила свой отряд на полдник. Кивнув ей, Тоскин сказал вполголоса:

– Надо обсудить кое-что. Позднее.

Прислонясь к веранде и наблюдая процедуру построения, Тоскин предавался ленивым размышлениям о том, что, будь он сейчас ребенком, он ни за что не поехал бы отдыхать в пионерский лагерь, где в столовую водят строем, а иногда дорогой даже заставляют петь. С другой стороны, Тоскин не мог упускать из виду, что в пионерский лагерь едут лица, еще не служившие в армии и не имеющие к ней отвращения, так что все устроено разумно и прекрасно. К тому же дети, в отличие от служилых мужчин, совсем не против поиграть в войну или в армию, иначе откуда взялись бы все эти скауты, бойскауты, юные разведчики, вот, кстати, было бы тоже неплохое название для лагеря, «Юный разведчик». Нет, нельзя сказать, чтоб они сейчас строились очень охотно, эти бунтующие современные дети (нелегко с ними приходится бедной Верочке), однако, в принципе, все эти дисциплинарные трюки, кажется, не вызывают у них ни вольнолюбивого бунта, ни даже серьезных возражений.

– В колонну по четыре... Девочки, у вас шесть человек... Хорошо, если хотите, разберемся по двое... В колонну по два...

Две передние девочки оказались возле Тоскина. Одна из них была яркая блондинка, очень налитая – такие формы и в двадцать три не всякая обретает, неудивительно, что она оглядывает мальчиков со снисхождением зрелой женщины, знающей им цену, но все же ожидающей, что хоть один из них поднимется до уровня взрослого мужчины, понимающего, в чем смысл жизни. Вторая... О, черт, вторая – она вдруг посмотрела на Тоскина ясным, безмятежным взглядом своих темных, блестящих, промытых глаз – только когда этот взгляд отпустил его наконец с повинной, он разглядел также ее припухлый носик, ее губы, удивительно дерзкого рисунка, тоже припухлые, разглядел припухлость ее груди и тонкую длинную руку, поднятую к густым волосам... И снова ее глаза поймали его – что-то в них появилось новое, вероятно, любопытство, чуть-чуть кокетства и, кажется, мысль, да, вот именно, это была мысль, девочка думала, она переживала какие-то свои тревоги... Тоскину на мгновение пришло в голову, что и ее любопытство, и тревога могли быть связаны с ним, с этим невольным пересечением их взглядов. Он пережил волнение, но потом стал гнать эту мысль прочь, как изгонял теперь из своей жизни все, что грозило осложнениями и неприятностями.

– Таня! Ну, Таня... – томно сказала ей половозрелая подруга. – Поправь же мне галстук!

«Таня. Значит, ее зовут Таня... Да, так о чем же я? А... ребятишки. Занятные. Верочке придется с ними трудно».

«И тебе придется с ними трудно», – прогундосил внутренний голос Тоскина.

«Мое дело сторона, – с твердостью ответил Тоскин, – я не вожатый. Я только воспитатель. Без четких обязанностей. И чуть-чуть наблюдатель. Будем сеять разумное, доброе, всякое. Ясно? Вообще, я не с ними. Я не здесь. Я всюду. Надо идти дальше».

Тоскин направился в соседний отряд, где происходило такое же построение под руководством энергичного карьериста Валеры. Пионеры строились мучительно бестолково, и Валера подбадривал их пронзительными криками, каким, по мнению Тоскина, он мог научиться только у армейского старшины. Увидев Тоскина, Валера стал кричать еще пронзительней, и при этом даже синтаксис у него стал старшинский:

– Брюкин, тебе касается!

Тоскин с независимым видом прошел мимо, бормоча себе под нос:

– Мне не касается. Вы тут наводите дисциплину, укрепляйте строевой шаг, поднимайте боевой дух, а я бочком, к другим, вот они маленькие, вот они...

Малыши, пионеры младшего отряда, чинно следовали на полдник, взявшись за руки, парами, как в детском садике. Они и были питомцы детского сада, оттуда принесли свои традиции, свежие еще воспоминания, закалку. Проходя мимо Тоскина, они нестройно его приветствовали:

– Здравствуйте, дядя!

Тоскину это было приятно. Он был, таким образом, отчасти вознагражден за огромную, трагическую разницу в их возрасте. Впервые он ощутил сегодня эту старческую тягу к почестям, столь очевидную у всякого старика, будь то редактор жэковской стенгазеты или маститый писатель Катаев.

Отряд прошелестел по траве мимо, а Тоскин еще стоял, утирая слезу умиления, когда увидел вдруг на дорожке пару «мальков». Может, первоначально они и не были парой. Может, это была отставшая шеренга, часть «колонны по два». Однако колонна ушла вперед, и шеренга стала просто парой. Это были худенький, белесый мальчик лет восьми и плотненькая, очень серьезная девочка.

Поравнявшись с Тоскиным, мальчик счел необходимым объясниться.

– Она отстала, – сказал он. – Она не знает, где столовая.

Девочка прямо и честно смотрела в глаза Тоскину. В этом взгляде был только один смысловой слой, и Тоскин подумал, что чуть позже, скажем в двенадцать, женский взгляд бывает куда более сложным. Мальчик шагнул вперед и заслонил девочку. Тоскину не хотелось, чтоб они уходили. И он спросил у мальчика:

– А ты... Откуда ты знаешь, где столовая?

– Моя мама – повар.

«Мама-повар, что ж такого?» – подумал Тоскин, но все в нем возмутилось против этого сообщения: значит, этот рыцарственно прекрасный тоненький мальчик с отважными глазами был сыном краснолицей поварихи, тыкавшей ему под нос свою непустяшную грудь.

– Идем, – сказала девочка. – Мы опоздаем. И нам ничего не достанется.

– Достанется, – сказал мальчик. – Я тебе достану сколько хочешь еды.

– А я ее не люблю, – сказала девочка.

Он посмотрел на нее восторженно и сказал:

– Я тоже. Я никакую еду не люблю.

– Мы опоздаем, – сказала девочка. – И нас будут ругать.

– Тебя никто не будет ругать, – сказал мальчик надменно. И добавил для Тоскина: – Нам надо идти.

Он взял девочку за руку и повел ее, бережно и неторопливо.

«Черт его знает, может, оно и правда что-нибудь такое бывает», – меланхолически сказал внутренний голос Тоскина.

«Не морочь мне голову, – отозвался Тоскин раздраженно. – Не морочь мне голову и не втягивай меня в неприятности. Ничего такого не бывает, и мне как писателю это видней...»

Тоскин был исполнен самых благих намерений. Там, впереди, среди мерзости дождливой и холодной московской осени, его ждали неприятности, какие угодно – от ангины до безрабо-

тицы, но сейчас он был наилучшим образом пристроен в живописном уголке Средней России (так он торжественно называл Подмоскovie), у него был свой угол, стол (о чем, как известно, только мечтать могла Марина Цветаева), он был не очень загружен и накормлен (повариха подложила ему сегодня даже лишнюю котлету, при этом, правда, она опять ткнула ему под нос свою незаурядную грудь). Короче говоря, у него были все условия для творчества, а тут же, рядом, за стеклом его клетушки, за полупрозрачным в полдень портретом Дзержинского, гомонили его герои, разгуливал на природе его жизненный материал (на случай, если он надумает стать именно детским писателем). Тоскин вынул из стола бумагу и стал ловить ощущение. Приходили в голову разные слова, чаще других «истома», но должное ощущение не появилось. Зато появился звук. Звук был, скорее всего, женский. Он был жалобный и очень тихий. Звук мешал сосредоточиться. Хотя в нем, пожалуй, тоже была истома. Тоскин подумал, что все его попытки творить кончаются всегда одинаково. Он подумал также, что звук и истома могут оказаться реальными. Он решил, что творить он сможет только позже, еще лет через десять. Тогда уж ничто не отвлечет его, никакой женский звук. Никакая истома. Тоскин спрятал авто-ручку и пошел навстречу истома и звуку.

Он миновал гипсовую серебристую статую пионерки, поднявшей в пионерском приветствии непропорционально большую серебряную руку, потом направился к оврагу. Звук послышался снова. Он был жалобный, без сомнения, женский и, вероятно, все же реальный.

Тоскин пошел на звук и обнаружил строение, похожее то ли на амбар, то ли на туалет (в нашу эпоху упадка архитектуры не всегда можно с точностью определить назначение постройки). Надпись над дверями уточняла, что это пионерская сушилка. Тоскин затаился, подождал немного и снова услышал звук. Он исходил, по всей вероятности, от женщины, которой нужна была помощь. В то же время женщина кричала как бы и не очень охотно, не очень громко и внятно.

Положение Тоскина было сложным. С одной стороны, он, вероятно, должен был поспешить на помощь. С другой, его помощь могла оказаться нежелательной и даже излишней. В конце концов, это мог быть крик любовной истома и даже стон кокетства, широко распространенный как в нашей стране, так и за ее пределами, о чем свидетельствует, например, индийское наставление по любовному делу под названием «Камасутра»...

Тоскина разбирало любопытство. У него пересохло во рту от волнения, и, уступая всем этим эмоциям, он решил, что долг обязывает его хотя бы заглянуть в окна сушилки. Однако заглядывать следовало осторожно. В конце концов, долг не обязывал его нарушать чужое уединение. И вовсе не побуждал его подвергнуть себя опасности.

Тоскин прижался к стене и стал медленно двигаться в сторону окна. Наконец ему открылся нижний угол окна, и Тоскин увидел, что в темноте сушилки белеют женские ноги. Ноги были длинные и стройные. В ареале пионерлагеря они могли принадлежать только Вере Чуркиной, и Тоскин отметил, что это были красивые ноги. Впрочем, чтобы наверняка убедиться в принадлежности ног и в том, что им угрожает опасность, надо было продвигаться дальше. Тоскин проделал это с большой осторожностью. Он увидел ноги чуть выше колен. Потом еще выше. Еще... И со вздохом отступил – как ученый, который сумел расщепить чуть не весь этот чертов атом, но в последний момент отступил перед ядром. Выше, в самой уже невозможной высоте, синела очень короткая джинсовая юбочка. «Еще короче не могла?» – спросил внутренний голос Тоскина.

– Что с вами, Вера? – громко спросил Тоскин.

Вера заплакала.

– Я зашла в суши-и-илку... – сказала она, всхлипывая.

– Да, да. Вы зашли в сушилку...

– А они заперли дверь снаружи. Пионерки.

– Это подлость, – сказал Тоскин.

Теперь он мог появиться перед окном, не таясь. Вера стояла в полумраке сушилки, длинная, тоненькая и беззащитная. Она сделала шаг в сторону двери, и спина у нее выгнулась, руки и волосы плеснули вдоль тела. Она была беззащитная и безвольная. С ней можно было делать все, что захочешь. И даже Тоскину было ясно, что с ней нетрудно было захотеть.

– А почему вы не кричали? Ну-у... Не кричали как следует? – спросил Тоскин.

– Я стеснялась, – сказала Вера, – и потом, я не знала, что кричать...

– Это просто подлость, – сказал Тоскин, вынимая снаружи щепочку, заложенную в петельки дверей.

– Они всегда что-нибудь придумают, – сказала Вера.

Ее ноги белели теперь во всю длину в полумраке сушилки, и Тоскин снова подумал, что в ее беззащитности есть большой соблазн.

– Да, вы правы, – сказал он, – они изобретательны. Позднее это проходит...

Тоскин шагнул внутрь сушилки и внимательно осмотрел Веру.

– Нам велели разучить с отрядом пионерские речевки, – поспешно заговорила она, вдруг почувствовав угрозу. – Старший вожатый сказал, чтобы когда отряд идет, то чтоб выкрикивать речевки. Знаете, речевки... Очень надо речевки... У меня есть речевки...

Тоскин понял, что этим вот и ограничится ее сопротивление – речевки, надо речевки...

– Что ж, речевки так речевки, – сказал он, отступая назад. – А что это, собственно, такое – речевки? – С этими словами он освободил Вере проход. И подумал, что стареет. Будь ему меньше сорока, он, может, и поговорил бы для виду про эти речевки (да что это такое, в конце-то концов?), но тем временем продолжал бы делать все, что положено. А теперь... Теперь он даже толком не знал, положено ли это делать.

– Речевки – это такие стихи...

– Стихи – это по моей части, – сказал Тоскин, – я пойду с вами.

– Это такие стихи, чтобы в ногу, – продолжала Вера, шагая с ним рядом (Тоскин отмечал, как она выгибается на ходу, такая стройная, длинная и длинноногая, как плещутся ее волосы, а узенькая полоска джинсовой ткани едва-едва скрывает, но все же скрывает...) – Вот, например, вы идете в столовую, – лепетала Вера. – Раз-два – Ленин с нами, три-четыре – Ленин жив...

– А-а-а, где-то я это слышал... – сказал Тоскин, – может, во сне. Выше ленинское знамя...

– Да, да, – обрадовалась Вера. – Пио-нерский кол-ле-ктив... Но это простая. Эту все знают. Надо больше. А я достала методичку. Очень трудно достать методичку, лето, все хотят методичку, а там все, все что надо, все типы...

– Ну, раз все типы, может, я вам и не ну...

– Нет, нет, – испугалась Вера. – Что вы, там даже надо придумывать, там такое задание, чтобы придумывать, и если вы будете, то они не так будут...

– Они вас не запрут в сушилку, – сказал Тоскин. И добавил: – Нет, конечно, я буду очень рад с вашими ребятами...

И понял вдруг, что он действительно рад, очень рад, потому что он увидит сейчас эту девочку с припухлыми губами, мягким припухлым носиком и чистыми глазами, в которых удаётся прочесть так много.

– Ребята! – сказала Вера, усадив отряд на скамьях. – Все знают, что такое речевки?

– Раз-два, Ленин с нами! – закричал черненький мальчик. – Три-четыре...

«Нахал и всеобщий любимец, – ревниво подумал Тоскин, – прелестный, бестия. Вот и я был такой. Куда все девалось?»

И по здравом размышлении Тоскин признал, что любить его, пожалуй, больше не за что: он не прелестен, не пострел и не бестия, он – старая зануда и неудачник.

– Повторим эту речевку, которую все знают, – сказала Вера. – Будь готов!

– Всегда готов! – откликнулись пионеры.

– Будь здоров! – крикнула Вера.

– Иван Петров, – невольно сказал Тоскин и подумал, что это дурацкое занятие засасывает.

Впрочем, пионеры ответили как надо. «Всегда здоров!» – крикнули они дружно, и Тоскин позавидовал их здоровью.

– Повторяем за мной, – сказала Вера. – Три-четыре. Бодрые, веселые, всегда мы любим труд. Пионеры-ленинцы, ленинцы идут...

Тоскин отыскал наконец глазами Танечку. Она была в новой пестрой кофточке. Она шепталась о чем-то со своей половозрелой подругой-блондинкой, и Тоскин испытал при этом двойственное чувство. С одной стороны, он ревновал. Он не доверял этой малолетке с четвертым размером груди. С другой стороны, ему было легче от того, что его Танечка не слушает сейчас Веру, что ее божественно вылепленные губы не повторяют за всеми «краснослеподпытскую» речевку.

– Итак, начали! – монотонно причитала Вера. – Левая половина: «Если нужно – завершим дело Ленина». Правая, мальчики: «Доберемся до вершин, нам доверенных». Левая: «Компас на ленинизм!» Правая: «Наша цель – коммунизм!» Левая: «На вершины брать равнение...» Правая, громче: «Гор-ны-е!» Так. Теперь я вам прочту, хотя это и для нас написано...

Вера открыла истрепанную методичку и стала читать скороговоркой:

– Сочинять речевку несложно. Обычно она представляет собой стихи или просто ритмический текст...

«Хорошенькое представление о стихах», – подумал Тоскин и вдруг напрягся, даже пристал: Танечка перестала болтать с подругой и теперь смотрела на него. В глазах ее было любопытство, кажется, даже благожелательное. Как в далекие, сладкие, почти забытые годы ранней юности, Тоскин пожалел о том, что у него нос чуть-чуть слишком длинный. Он смешался и сделал вид, что повторяет за Верой «космические» речевки:

– Нам везде с весельем нашим...

– Хорошо! Хорошо!

– Мы поем, танцуем, пляшем...

– Хорошо! Хорошо!

«О, черт! Вот заряд оптимизма! Но что же делать?» – маялся Тоскин, замечая, что Танечкины губы стали шевелиться вслед за его губами, точно она повторяла за ним пушкинские строки.

– «Всем ребятам на потеху», – зачитывала Вера. – И – все вместе: «Ха-ха-ха!» – «Пустим мы ракеты смело – ха-ха-ха!» – «Поднимается ракета! – Ш-ш-ш». – «Полетели до планеты – ж-ж-ж». – «Чертим небо ярким светом – з-з-з». – «Прилунилася ракета – бум-тра-та-там». И теперь все вместе, ребята: «Ура-ра-а!» Вот тут еще... – Вера добросовестно листала методичку. – Вот тут сказано, что пионеры сами могут придумывать речевки с традиционным зачином. Все поняли? Например: «Раз-два, смело в ногу...» Дальше? Кто дальше?

Черненький чертенок вскочил и крикнул, глядя на Тоскина:

– Честь и слава педагогу!

Все смеялись, но смех был добродушный.

– Повторим! – сказала Вера. – Раз-два. Смело в ногу!

И все повторили про педагога. И все смотрели на Тоскина. А Тоскин смотрел на Танечку и видел, что губы ее шевелятся. И он понял, как трудно устоять даже против такой совершенно идиотической лести.

– Знаете, друзья... – сказал он растроганно, – завтра вечером, если у вас будет время и если вожатая вам позволит... Завтра вечером мы начнем заседания литературного... э-э-э...

– Кружка, – подсказал черненький.

– Да, пусть так... Мы будем читать стихи...

– Эти самые? – спросил чертенок.

– Есть ли желающие посетить... посещать...

Тоскин со страхом смотрел в Танин угол. Рук было много, и Таня подняла длинную ручку. Ее половозрелая подружка тоже подняла руку, и Тоскин отметил при этом, что подмышка у нее была влажная. Он отвел глаза и оправдал себя тем, что писатель должен все замечать. Тем более детский.

* * *

Директор поймал Тоскина на дорожке. Они пошли рядом, и директор стал говорить, очень медленно и значительно, стараясь найти верный тон, потому что, с одной стороны, Тоскин был подчиненный, а директор был как бы командир, слуга царю, отец солдатам. Долгая служба в армии, точь-в-точь как аристократическое происхождение, дает офицеру твердое сознание своего превосходства и хамоватую простоту в обращении с быдлом. С другой стороны, директора все время мучило воспоминание о том, что он уже больше не в армии, что это свой брат педагог (потому что они же тут все, черт возьми, педагоги, он тоже теперь педагог), и еще о том, что Тоскин здесь единственный (сторож и физкультурник не в счет), кроме него самого, взрослый мужчина – нельзя же его так же, как Славика или этого, второго, как его, чуть не допризывника...

– Как у вас, Кстатин Матвеич, дела? Идут дела? Ну и отлично. Надо вот что...

Директор остановился, и голос его приобрел чрезвычайную серьезность. Борясь с неодолимой робостью, которая его всегда охватывала в присутствии начальства, Тоскин принял натушно непринужденную позу. Чтобы поддержать эту позу сколько можно, он через плечо начальника читал тексты на плакатах и стендах, украшавших главную аллею лагеря – от самых ворот и будки часового (точная копия армейского КПП) до столовой: «Огни пятилеток! Эпоха чудес! Мужал комсомол, возводя Днепрогэс». Дальше следовали весь перечень чудес и стихотворное же резюме: «Дела комсомола, его свершения – это революции продолжение».

– Я вот что хотел, Кстатин Матвеич, – сказал директор басовито-интимно. – Надо будет к открытию лагеря композицию подработать. На высоком идейно-политическом. И без отстающих. Могут из района приехать товарищи, так что уж вы подключитесь, пожалуйста. Вера Васильевна и Валентина Кузьминична из своих подразделений тоже выделяют личный состав, а вы проследите. Конечно, старшие лучше в этой обстановке, тем более что Вера Васильевна, знаете, замечательное достала наставление, так что осталось только в рот положить. Уж вы сконтактируйте с ними, пожалуйста, и подключитесь. Понято?

– Понято, – бодро сказал Тоскин, сам поражаясь своей лингвистической гибкости.

– Действуйте! В добрый путь, как говорил наш начальник ГСМ. А я еще пойду по делам...

– И директор энергично зашагал к столовой.

Тоскин столь же энергично двинулся в боковую аллею и только здесь, оказавшись в тени фанерных щитов с житиями пионеров и живых деревьев, позволил себе расслабиться, предаться обычной меланхолии, которая с неизбежностью привела его к любимому занятию – чтению. Всего, что попадает на глаза. Он очутился на аллее героев-пионеров, где со щитов, окаймлявших ее, глядели на него младенчески-суровые, а иногда и старообразные лица маленьких героев и мстителей. На первом портрете красовался, конечно, Павлик Морозов, подвиг которого был описан на отдельном стенде рядом: «Не колеблясь, Павлик разоблачил родного отца, когда узнал, что тот сочувствует кулакам. Имя героя-пионера Павлика Морозова первым занесено в “Книгу почета пионерской организации”». Тоскин подумал о том, что его безволие и профессиональная привычка читать всякий текст сделали его первым и последним читателем этих неуклюжих текстов, которые наверняка не замечают ни пионеры, ни их родители. («И напрасно, – подумал Тоскин, – родителям эта история про малютку Павлика могла бы особенно полюбиться».) Со следующего стенда на Тоскина сурово глядел пионер Руслан Кара-

басов. Юный мститель собственноручно поджег избу, в которой ночевали пятьдесят («Почему не сто пятьдесят?» – удивился Тоскин) немцев. Ни один из захватчиков не вышел живым из помещения. Пионер был замучен насмерть, но не сказал ничего. Умирая, он плюнул в лицо офицеру...

– Дядя, а вы мою маму не видели? – спросил тоненький детский голос.

«В твоё время, мальчик, – прогнусавил внутренний голос Тоскина, – люди уже, вон, избы с живой силой перемалывали, а ты все: мама, мама – как маленький».

– Меня зовут Константин Матвеевич, – сообщил Тоскин, невольно загораживая телом историю Руслана Карабасова.

– А меня Сережа, – сказал мальчик. – В столовой её нет. Тети сказали, что она пошла к директору. Но я не знаю куда. А вы не знаете, куда пошел директор?

– Куда-то туда... – сказал Тоскин, поведя рукой, как некий меланхолический Сусанин. – Он мне не сказал... А зачем тебе мама? Может быть, я смогу тебе помочь?

– Мама мне действительно ни к чему, – серьезно и печально сказал Сережа. – Просто я хотел ей сказать, что мы с Наташей решили друг с другом пожениться. Я не знаю, должен я ей сказать или не должен? Наверно, вам нельзя вместо неё сказать?

– Наверно, нельзя, – сказал Тоскин. Потом спросил, не удержавшись: – А зачем вы хотите пожениться? Я вот никогда не хотел пожениться.

– Ну, вы взрослый, – убежденно ответил Сережа. – А мы хотим пожениться, чтоб всегда играть вместе. Просто по дружбе. И чтоб жить вместе, когда первая смена кончится, потому что у Наташи путевка на одну смену. Чтоб всегда жить вместе. Потому что мы дружим. И чтоб друг друга защищать, а то мальчишки очень щипают девочек.

– Ты будешь её защищать?

– Да, я всегда буду её защищать. Но она тоже меня очень хорошо защищает, вы не думайте, она очень сильная...

Сережа вдруг исчез. Тоскин огляделся, поискал... Ни под щитом, ни за щитом мальчика не было. Даже в кустах его не было видно. Зато обнаружилась причина, по которой он исчез: по аллее героев энергично шагала Валентина Кузьминична.

– Мальчика не видели? – спросила она, тяжело дыша.

– Какого мальчика? – невинно спросил Тоскин.

– Стала пересчитывать, не хватает одного мальчика. Как дети персонала, так одна морока...

Широкий круп Валентины Кузьминичны исчез за кустами, и Тоскин решил поскорее укрыться в своем логове, где он сможет предаться литературным занятиям. Под литературными занятиями Тоскин понимал спокойно-мечтательное бдение среди книг и бумаг в праздных размышлениях, фантазиях и мечтах. Иногда Тоскин при этом читал, еще реже начинал вдруг набрасывать что-то, какие-то планы, отдельные стихотворные строчки, однако чаще он все же просто лежал и думал о том, как его литературный герой, или даже не герой, а просто он сам, Тоскин, отправился, к примеру, пешком по горной дороге в незнакомый кабардинский аул – он и на самом деле чуть-чуть не сделал это однажды, находясь проездом в Кабарде, однако все же не сделал, не пошел, просто присел, помечтал у развилки, на окраине Нальчика, потом, отметив командировку, вернулся домой – так вот, там, в ауле, к нему подошла горянка, скорее, горец, потому что горянки эти, кажется, очень дики и застенчивы, но, в конце концов, у этого горца наверняка была сестра, и вот ночью... Вообще, с этими кабардинцами шутки плохи, но в конце концов, если успешно повести дело, все могло бы кончиться успешным браком, и теперь у Тоскина было бы по крайней мере три маленьких весьма забавных кабардинца, которые... Чаще всего Тоскину представлялся летний визит, во время отпуска, в этот кабардинский аул, где растут под надзором супруги его трое сорванцов – не в городской же клетушке их содержать – и где уважительная родня встречает Тоскина у околицы (слово явно не подхо-

дящее, а как же надо?), громко крича по-кабардински (как это, кстати, по-кабардински?) и по-русски, ну что-нибудь такое уважительное: например... «Честь и слава педагогу!»

Какие-то тени прошелестели на улице, по ту сторону Дзержинского. Тоскин привстал. Это были два мужчины, скорей всего Слава и Валера. Да. Послышался Славин голос:

– Давай еще пузырек и – в баню...

Тоскин притаился за портретами. Он решил не зажигать свет. Ему пришла в голову замечательная мысль: если сдвинуть стол, то он, пожалуй, уместится здесь на полу. Надо только перенести матрац из общей комнаты, где ему отвели койку вместе с Валерой и Славой. Выглянув из своего укрытия и убедившись, что горизонт чист, Тоскин совершил перебежку до ближайшего корпуса. И вдруг замер. Тоненькая фигурка медленно передвигалась вдаль, на фоне еще светлевшего горизонта, по единственной безымянной аллее лагеря, которая вела от спрятанного в зарослях деревянного туалета до отрядных финских домиков. Фигурка была и тоненькая и мягко-припухлая в одно и то же время, ее неясные контуры сливались с сиреневыми сумерками, – казалось, еще немного – и она растает, растворится в сумраке, – и, словно испугавшись этого, Тоскин быстро пошел ей навстречу, потому что он уже узнал по каким-то ему еще самому неведомым признакам, он скорее не увидал, а почувствовал, что это была она, девочка Таня из отряда Веры Чуркиной. Тоскин успел выйти на аллею прежде, чем она поравнялась с ним, и сказал, тяжело дыша: «Добрый вечер, Танечка!» Девочка поздоровалась, взглянула на него пристально, с длительным любопытством, и Тоскин, смешавшись, уже готов был спросить первое, что пришло ему на ум: «Откуда вы?» – и остановился вовремя, потому что это могло бы смутить девочку, это могло бы все испортить, ибо она была уже не так мала, но и не так еще искушена, чтобы ответить с трогательной непосредственностью, что она ходила пописать перед сном, – да и вообще Тоскин был убежден, что непосредственность эта во всем, что касается физиологии, была не наша, не серединная, а с Запада или Востока и она еще не прижилась, еще не пришлась нам по душе...

Девочка сама выручила Тоскина, сказав с тоскливой жалобой:

– Уже отбой. Спать надо идти, так не хочется – сейчас свет погасят и даже читать не разрешат, хоть бы случилось что-нибудь такое, какая-нибудь авария – чтоб не спать...

– Да-да, – сказал Тоскин, оживляясь. – Мне всю жизнь было страшно досадно – а в детстве я плакал, – страшно досадно, что день уже кончается, что сегодня уже ничего не будет, а непонятливые взрослые утешают тебя завтрашним днем, но ты ведь еще хочешь жить сегодня... Это как религии тебя утешают, одни загробной жизнью, другие новым рождением, реинкарнацией, а ты еще хотел бы этой жизни... И еще так же обидно бывает в дороге, когда сгущаются сумерки, а ты идешь и хочешь идти дальше, дальше, только что разохотился... Или ты пришел в новый город и хочешь открыть его, но уже стемнело, пустеют улицы, нет машин и нет людей. И все потеряно до утра, но ты еще надеешься на приключение... Вот я был однажды в командировке на Кавказе, в Нальчике. Я стоял на дороге, ведущей в кабардинский аул...

Танечка и Тоскин свернули с безымянной аллеи на пустынную аллею героев-пионеров, и Тоскин, загораюсь, стал рассказывать о кабардинском ауле, мешая свои впечатления от поездки со всем, что нагромоздилось в одинокие часы его литературных занятий, что он вычитал в книжках, а также со строками стихов, с давними химерами... У него не было угрызений совести, ибо вдохновение наконец посетило его, ибо это и было, в конце концов, его литературным досугом, – а бумага, что ж бумага, и кому нужны эти горы бумаги, какому читателю (для тупого – достанет макулатуры, жадно им поглощаемой, для утонченного – понаписано так много в золотые века искусства), а сейчас, в это мгновение, был перед ним самый главный его слушатель-читатель, самый трепетный, самый желанный... Итак, путешествие привело Тоскина на край горной пропасти, где его новый друг-кабардинец осадил своего коня, чтобы, спешившись, представить ему сестру-горянку. Танечкины зрачки сияли в незамутненной чистоте, расширенные любопытством, испугом, иногда страстью; они были сейчас даже более зрелыми, чем ее

налитое негой тело девочки-акселератки из благополучной части этого континента. Она вдруг остановилась, присела на корточки и легко, едва ощутимо, тронула Тоскина за колено, от чего ноги у него задрожали какой-то забыто-сладкой дрожью...

– Вот, – сказала она, – репей.

Она хотела выбросить репей, оторванный от его штанины, но Тоскин протянул за ним руку с бессознательной надеждой коснуться ее руки, получить первый реальный знак того, что с ним случилось сегодня, чтобы сделать потом воспоминание и осязаемым и надежным, – как поступали издавна герои сказок, от всесветного дурака, хватавшего за хвост птицу счастья, до зарубежного принца, прижимавшего к груди хрустальный башмачок... И ему посчастливилось, он ощутил самым краем ладони мягкое тепло ее руки, очень теплой и очень мягкой, а потом девочка встала, повернулась и побежала прочь: то ли он спугнул ее, то ли она ждала этого прикосновения и вот – дождалась... Остановившись у края аллеи, она сказала:

– Ой, уже корпус закрывают. Пока-пока...

В этом глупом панибратском «пока-пока» было признание их уже совершенно не лагерных, не официальных, а каких-то особенных, своих отношений, и Тоскин медленно побрел за матрасом, спрятав на груди репей и лелея драгоценное воспоминание о последнем ее прикосновении, о ее силуэте в сиреневых сумерках, о собственных фантастических приключениях в Кабарде, обогатившихся ныне подробностями.

Девочка была так трогательно, так несказанно, так неприкасаемо хороша, что Тоскин мог бы сейчас... Да, он мог бы сейчас совершить что угодно ради нее и ради продолжения этой вот бессмысленной прогулки со всеми ее неожиданными репьями и кабардинскими эскападами. «Что же это? – в смятении думал Тоскин. – Что же?» И ответ пришел сам, пугающе логичный, подкрепленный тысячей примеров и множеством авторитетных источников – от шлягеров Сигизмунда Каца до шлягеров Зигмунда Фрейда: это вот ужасающее преувеличение достоинств женской особи, это вознесение ее на пьедестал неприкасаемости, это отчаянное нагромождение препятствий в виде разности уровней (истинной или мнимой, все равно), этот удушающий прилив благодарности – все это и есть любовь...

Это было безумно, безнадежно, неуместно и недозволенно, но Тоскин понимал, что именно эта безнадежность и является (во всяком случае, для него) основанием и залогом столь неоправданного, столь абсурдного и столь долгожданного чувства.

Надо было отправляться спать. Постель и вправду страшила Тоскина. Впрочем, уже не по той причине, что в детстве: он боялся теперь бессонницы, глухой сердечной боли, страшных снов пробуждения – всей этой маеты изношенного тела. Однако вопреки своим ожиданиям он уснул быстро и безмятежно, спрятав голову под письменный стол и упершись в дверь ногами, в благодетельной тени Пушкина, Достоевского и Ф. Э. Дзержинского.

Поручение начальника лагеря не показалось Тоскину особенно трудным, тем более что Вера Чуркина уже сама наметила участников торжественной «композиции» (в их числе была и Танечка со своей половозрелой подругой Томой). К тому же в замечательной методичке, которую раздобыла Вера Чуркина у себя в Ленинском педе, можно было найти все, что необходимо для лагерной жизни, в том числе и «Литературно-музыкальную художественную композицию, посвященную открытию лагеря»: оставалось только окончательно распределить роли и разучить текст. Тоскину выпала при этом необременительная роль наблюдателя и консультанта, к которому Вера время от времени обращалась с каким-нибудь вопросом (отчего-то каждый раз она при этом тушевалась и робела).

– Ребята, – начала Вера с подъемом, который явно стоил ей усилий, – это композиция, которую надо разучить к открытию лагеря. Наш отряд, ребята, борется за звание... Так что, приступим к делу. Может быть, вы хотите читать, Константин Матвеевич?

– Да нет, нет, ваша композиция, вы и читайте. – Тоскин сделал решительный и великодушный жест рукой, и Вера продолжала:

– Ты, Юра, будешь Первый пионер, ты, Андрюша, – Второй, записывайте, читаю медленно: «Первый: Мы не станем с вами удивляться, / Что в Рязань идут потоки книг! («Это, положим, дезинформация, – подумал Тоскин уныло, – никаких потоков не идет, и ни черта там не достанешь».) Второй пионер: Что тайга в огнях электростанций. Первый: И что стал профессором калмык. («Вот уж есть чему удивляться, калмык, а туда же», – бурчал про себя Тоскин.) Второй: Мы привыкли с вами видеть это / В наших селах, в наших городах...» Так, ребята, это несложно, – сказала Вера (может быть, она прочла в методичке, что это несложно), – дальше. Два участника, остальные тоже участвуют. Ты будешь Пионерка, Тамара, а ты, Юра, Пионер.

– А я и есть Первый пионер, – сказал Юра.

Вера, не тратя сил на полемику, продолжала читать:

– «Пионерка: Тут глаза прищурил Ленин, / Спрашивает он... Пионер: А в таблице умноженья / Кто из вас силен? – Тут ребята переглядываются, пожимают плечами, смущенно опускают глаза...» – зачитала Вера. – Так, «смущенно опускают глаза». Давайте разделим, кто будет переглядываться, кто пожимать плечами...

– Я буду смущенно опускать глаза, – сказал Юра.

– Нет, лучше пусть Таня будет... – сказала Вера. – Так, читаю дальше. «Пионерка: Говорит товарищ Ленин... Пионер:

Вы должны понять:
Коммунистом без ученья невозможно стать!
Мы хотим, чтоб ток стремился
К лампочкам, станкам,
Чтоб в песках канал пробился
К дальним кишлакам,
Чтоб машина убирала
Урожай страны...»

– Чегой-то мне так много, а Томке две строчки, – сказал Юра.

– Но тут так написано, – Вера была в растерянности. – Как вы думаете, Константин Матвеевич, тут можно поделить?

– Конечно, – кивнул Тоскин серьезно. «Нет, я все-таки моральный урод, – думал он при этом, – дети спорят о количестве строк. Содержание стихов их никак не задевает. Они его просто не замечают. Как не замечают текстов, которыми исписаны все куски фанеры на территории. А может, это им только так кажется, что они не замечают. Может, каким-то внутренним зрением они все же читают все это. Учат наизусть. Запоминают... Нет, все-таки совсем неплохо, что я занимаюсь литературой только устно, непрофессионально. В противном случае, раньше или позже, корысти или славы ради, я бы сочинил, наверное, что-нибудь в этом духе, в минуту слабости...»

– Теперь твоя очередь, Танечка, запоминай: «Вижу далеких времен пионера, / Он сейчас на посту. Домна его, как дом Гулливера, / Видно за версту».

– Видно или видна? – спросил Тоскин. И подумал: «Как будто не все равно?»

Мальчики шептались о чем-то, хихикали. Тоскин сразу догадался о чем. Вместо домны они подставили что-то малоприличное. С одной стороны, Тоскин даже готов был приветствовать эту игру ума, это незагубленное «бель эспри». С другой стороны, ему жаль было Танечку: она выглядела усталой, невыспавшейся, ей показалось, что это над ней смеются мальчишки. Тоскин решил, что надо ее поддержать.

– Хорошо, Танечка, – сказал он. – Совсем неплохо.

Он был вознагражден ее удивительным, говорящим взглядом.

– Так, мальчики, вы, я вижу, скучаете, – сказала Вера. – Всем найдется работа.

«Ого, она уже педагог», – подумал Тоскин.

– Ты, ты и ты. – Вера выбрала троих. – Ты будешь Пятый пионер, ты – Шестой, ты – Седьмой, потом все вместе. Записывайте за мной. «Пятый: Слышите, люди, волнующий хор? Дети поют войне приговор. Пусть никогда малыши не кричат: “Мамочка, мама, где ты сейчас?”»

– Вера Васильевна, можно я буду пищать «мамочка-мама»? – спросил Юра.

– Нет. Таня будет пищать. У нее тоненький голосок.

– Можно двух мальков попросить у Кузьминичны, – сказал Юра. – Так интересней будет.

– Читаю дальше, – малахольно сказала Вера. – «Шестой: Люди на страже, люди не спят.

Дети поют «Бухенвальдский набат». Седьмой...»

– Можно мы тут запоем «Бухенвальдский набат»? – спросила Тамара.

– «Бухенвальдский набат» – это замечательная советская песня, – строго сказала Вера. –

Она у нас дальше в программе.

– А мы здесь запоем, – сказал Сережа.

Вера обернулась к Тоскину с вопросом, и он кивнул:

– Пусть поют.

– Хорошо. Здесь будете петь, – сказала Вера. – Читаю дальше. «Седьмой: Веселей зарю труби, трубач! Воинам славных побед / От имени нашего лагеря...» И все вместе: «Пламенный пионерский привет!» Теперь еще раз повторим текст, а потом будем разучивать песню...

– Ну что ж, – сказал Тоскин, наклонясь к Вере. – Очень мило. Вы тут поучите, а я пойду разработаю план...

Тоскин в последний раз взглянул на бледненькую и в бледности своей еще более нежно-припухлую Танечку. Она ответила ему смущенно и даже чуть-чуть испуганно, что пробудило в его душе некое победительное торжество. Тоскин встал и деловитой походкой направился в свое логово, чтоб предаться там мечтательно-литературным занятиям... Вот он шагает твердой походкой победителя по ночному лагерю, и Танечка, в пеньюаре, ну да, в ночном халатике, бросается ему навстречу: «Спасите, я больше не могу...» Она не может... Чего она не может? Не может более выносить дурацких разговоров в спальне, идиотических стихов, грубых шуток... Она прижимается к нему, прячется у него на груди...

Снаружи, за Достоевским, грянул хор. Вера начала спевку. «Красиво поют», – подумал Тоскин, пытаясь различить в хоре Танечкин голос. Один раз ему показалось, что он узнал ее, но он не был уверен в этом. Он подумал, что она поет, должно быть, тихо, чуть слышно. Однако вскоре Тоскин поймал себя на том, что, даже отчаявшись различить Танечкин голос, он продолжает вслушиваться. Лишенный в городе контакта с «телеком» и радиоточкой (и того и другого он избегал принципиально), Тоскин впервые явственно и разборчиво услышал здесь текст песни, любимой народом и рекомендованной для юношества:

Ты в тайгу пришел по сердцу, как по компасу,
Но едва огни взлетели над рекой,
Ты собрал своих орлов из первой комплексной
И увел на новый гидрострой.
Значит, время такое пришло,
Значит, ветер в дорогу позвал...

– Это черт знает что, – пробормотал Тоскин, который все же считал себя в душе писателем (пусть детским писателем), – это черт знает что...

Детские голоса звучали все задушевней:

И мечту твою ты выбрал,

А не выдумал,
И дорогу бесконечную свою,
Чтобы кто-то по-хорошему завидовал...

– Вот именно! – Тоскин даже вскочил с места, ибо здесь была разгадка художественной специфики времени. – «Выбрал, а не выдумал». Перед песенником лежал текст постановления, и этот шустряк-текстовик ничего не выдумывал (такое предположение было бы оскорбительным и для творца, и для человеческой фантазии), он выбирал из газеты пункты. И естественно, что вместе с пунктами к нему пришла газетная лексика, способ мышления, юмор. «По-хорошему», ах ты, падла...

– Ребята! – сказала Вера, – я вижу, что песню «Непоседа» знают все. Запомните, что это песня Яна Френкеля на слова Михаила Танича...

– Танич... – бурчал Тоскин, – это что же было? Натаныч. Или Танхумович. Непоседа – это прелестно. Это значит: беспокойные сердца, задумки, придумки... А ты... Кто ты? Ты просто завистник. Люди сочиняют простые и трогательные стихи для народа. В конце концов, лучше сочинять небольшие стихи за большие деньги, чем городить библиографический огород за девяносто рублей в месяц. А что такое твоя библиография...

– Все записывают, – громко сказала Вера, —

О славных делах добровольцев
В тайге, среди сопок и скал,
О честных делах комсомольцев
Поет молодой камчадал...

«Ну, послушай, какие честные стихи, – сказал себе Тоскин, – честные стихи о честных делах. Чутки примитивные, но, в конце концов, оговорено, что это поет молодой камчадал. Так что можно принять это даже за перевод с камчадальского. Рифма, правда, не новая, дежурная, но только одна, вторая же, право, недурна: скал – камчадал... Да, так припомним, что же случилось ночью, когда Танечка бросилась мне на грудь в ночном халатике? Что было?... Ничего такого не было. Было ощущение тепла вот здесь, на рубашке...» Тоскин положил руку на рубашку, но почувствовал неуместное пробуждение плоти в другом месте. «Вот это уж совсем ни к чему, – подумал Тоскин, – придется смирять ее каким-то окольным путем...»

Он порылся в памяти. Повариха первой пришла ему на ум – не даром она все время тычет ему под нос свой бюст. Нет, нет, потом будет мерзко. Валентина Кузьминична с ее крупом тоже отпадает. Вот Вера Чуркина – прелесть, однако это все не так просто, она еще очень молода. О, извечная доука. Столько хлопот! Думать – и то обременительно... Тоскин привычно расстегнул верхнюю пуговицу брюк и опустил руку в промежность. И вдруг услышал тихий и робкий Танечкин голос:

В поселке, где к соснам прибиты скворешни,
Есть каменный дом небольшой.
Живет в нем совсем неприметная внешне
Девчонка с хорошей душой.

«Танечка, да, милая Танечка, – подумал Тоскин. – Тебе посвящается этот скромный холостяцкий акт любви. Ах, милая Танечка...»

Уж если влюбляться, пусть будет любимой
Девчонка с хорошей душой...

(А какие стихи! Истинный Асадов.)

Танечка кончила петь. Послышался монотонный голос Веры (что она, спит на ходу, что ли?):

– Запомните, ребята. Это была песня на стихи Игоря Шаферана. (Ах, какие стихи! Стыдитесь, Шатобриан! Браво, месье Шаферан!) А теперь нам надо выбрать что-нибудь боевое для открытия концерта. Что вы предлагаете? Так... Активности не вижу. Хорошо. Пишите:

Мысли пытливой нашей полет
В завтрашний день нацелен...
Упорно стремиться вперед и вперед
Учил нас великий Ленин.

И все вместе, ребята, припев:

Мечтать! надо мечтать!
Детям орлиного племени!
Есть воля и смелость у нас...

«А чего ты, собственно, хочешь? – спросил себя Тоскин. – Люди твердо стоят двумя ногами на почве реальной действительности, как говорил замполит в армии. Они создают свои шедевры под шум прибоа. И юные красотки с пляжа, раздеваясь у них в номере, благоговейно смотрят на машинку, стоящую на письменном столе... Жизнь дается человеку один раз, и надо прожить ее так... Вот они и стараются прожить ее так. Кто это, кстати, сказал? Горький? Островский? Да... Надо будет переодеть брюки...»

И здесь Тоскин вдруг услышал Танечкин голос:

– Тут надо два раза, – сказала Танечка, – я хорошо помню. Я все песни Игоря Шаферана знаю. Тара-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра. И так нужно два раза.

– Начали, – уныло согласилась Вера.

И они начали:

Та-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра.
Возможно, что есть замечательный парень,
Грустить одиноко он тоже не рад.

(Ах нет, все-таки Асадов произвел на них на всех неизгладимое впечатление. А Танечка – прелесть, какая чистота...)

Возможно, механик,
Возможно, полярник,
Возможно, строитель,
Возможно, солдат.

(А может быть, и тот, и другой, и третий – все по очереди, потому что традиций группового секса у нас, кажется, нет. Впрочем, это мне так кажется, поскольку я отстал, вот лежу и в неудобной позе...)

Та-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра.
И очень возможно, пути их сойдутся,

Что часто бывает на этой земле,
Возможно, в Одессе,
Возможно, в Иркутске,
Возможно, в Тамбове,
Возможно, в Орле.

Последний куплет окончательно успокоил Тоскина:

– Возможно, в каждом из этих центров культуры, да, да, все будет, милая Танечка, но не сегодня, не здесь, моя трогательная, пухло-нежная, моя воздушно-осязаемая, прелестная. Не здесь и не со мной... А сейчас надо будет пойти похвалить их. Как я выгляжу? Ничего. На все сорок с лишком. Чуть томно. Но ведь так и положено творцу. Я творил. Я отдал силы. Сам Шаферан, наверно, выйдет не лучше после создания своего бессмертного шедевра «Та-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра...». Надо идти.

Тоскин вышел на крыльцо и в последний раз украдкой оглядел себя с ног до живота. Кажется, все в порядке...

* * *

На утренней линейке по правилам должен был присутствовать весь персонал лагеря. Вероятно, для того, чтоб начальство, окинув орлиным оком ряды, убедилось, что его личный состав готов провести еще один день пионерского отдыха в рамках дисциплинарного устава. Может быть, это имело и еще какое-нибудь, утилитарное или ритуальное, значение. Так или иначе, Тоскин еще в армии усвоил, что, кроме порядка и устава, есть еще традиции («У нас стало доброй традицией» – так начинают свои выступления даже очень большие начальники). И он постарался, чтобы его отсутствие на утренней линейке стало традиционным. Он брал на себя разнообразные и абсурдные поручения (чаще всего они исходили из самого высокого источника), чтобы во время линейки находиться где-нибудь в укромном месте – у себя в берлоге, под защитой Ф. М. Достоевского, в сушилке, за кустами, в овраге, даже в столовой. С него хватало и того, что он поневоле слышал из своего очередного укрытия надсадные команды вожатых, Славино неумеренную брань по поводу строевой выправки малолеток и их дисциплины, его полулегальные затрещины, а также воспоминания начальника, торжественные клятвы, заклинания, стихи, истеричные звуки горнов и нервную барабанную дробь при поднятии флага. При всей своей терпеливой беспринципности Тоскин был в некоторых вопросах все еще довольно нетерпим. Ценой некоторых материальных и моральных лишений он ухитрился проводить свою жизнь в стороне от главного направления классовой борьбы, и, живя так, он с каждым годом все более убеждался, что теряет совсем немного (даже в сфере вожделенных, но скудных благ). Поэтому он иногда задавался вопросом, что же побуждает его сограждан к столь активному жлобству? И приходил к неизбежному выводу, что сограждане влекут не одни только выгоды. Чаще их подводит собственная активность, избыток энергии, направляемой в наиболее доступное русло. Граждане не виноваты (или не так уж сильно виноваты) ни в своей активности, ни в том, что единственно доступное русло именно таково. И все же созерцание Славиного жлобства, начальственного слабоумия, напыщенных ритуалов и климатической педагогики Валентины Кузьминичны оставалось для него тягостным. Тоскин отважился даже однажды сказать об этом безответной Вере Чуркиной.

– Ой, это еще что, – взмахнула она тонкими белыми руками, – вот я на третьем курсе была в почтовом ящике в лагере – там целый день были эти линейки, репетиции, игры, отчеты...

Каждый раз, наблюдая за линейкой со стороны, Тоскин с удовлетворением отмечал, что он не принимает участия в этом первом утреннем насилии, и приходил к выводу, что армия все-таки не прошла для него совершенно бесследно: он хоть научился там сачковать.

А сегодня, слушая, как старший вожатый Слава с неумеренным ожесточением кричит на мальков, которые не умеют «держат равнение», Тоскин даже стал подумывать о том, что его берлоге необходима еще и звуковая изоляция. За этими мыслями его застигла повариха.

Захваченный врасплох, Тоскин не нашел ничего лучшего, как задать ей идиотический вопрос:

– Как вы меня нашли?

– Женщина всидда найдет, – сказала кокетливо повариха, для начала просовывая в дверь его берлоги свою огромную грудь. Она снисходительно отнеслась к горизонтальному положению Тоскина, но он тут же вскочил и предложил даме свой единственный стул. Он подумал, что в этом, конечно, есть определенный соблазн – в том, чтобы заняться с ней сексом под пение горнов, под четкие слова команды и бестолковое шелестение гравия, под рапорты и заклинания. Однако опасность перевешивала соблазны: потом она зажмет его в угол этой своей грудобрюшной роскошью и будет доить без усталости, как жертвенного козла.

– Чем могу? – начал Тоскин вежливо и церемонно, и повариха сразу сдалась.

– По пять рублей решили, – сказала она просто, но, видя, что до него не дошло, пояснила: – Банкет по поводу открытия, решили всех без исключения сотрудников, даже сторожа позвать, для общей спайки.

Тоскин отдал (не без жалости) трудовую пятерку и остался в размышлении об омонимической и синонимической близости спайки и спаивания.

– Сторож, да, да, еще сторож... – припомнил Тоскин. – Вот, в сущности, член коллектива, чьи обязанности четко очерчены. Нет, конечно, его могут нагрузить, даже обязать (он тоже должен прятаться и как бы отсыпаться после бессонных ночей), зато его труд начисто лишен элемента педагогического, а это очень важно, когда работаешь в учреждении с идеологической направленностью...

Этого призрачного сторожа Тоскин видел только раз или два, в день приезда. Это был загорелый мужчина лет пятидесяти пяти, с короткими и густыми усами – истинный молодец-фанагориец (если уж словцо засядет в голове в нежную школьную пору, его потом не выкинешь – «ликвидатор наизнанку»).

«А ты вот никогда не решишься пойти сторожем, – попрекнул себя Тоскин. – Хотя быюсь об заклад: жалованье то же... Что же тебе не позволяет? Снобизм? Кастовая гордость низкооплачиваемого интеллигента? Беззаветная преданность сортировке макулатуры?..»

Утреннее построение закончилось, смолкли трубные звуки, шаги, крики. Тоскин деловой походкой вышел, почти выбежал из своего логова и стремительно пересек лагерь, точно посланный по срочному делу кем-то очень влиятельным и полномочным. В лагере затевалась сегодня самая яростная суэта, подлинная вакханалия суеты, ибо до открытия лагеря оставались считанные часы...

Должны приехать родители. Должны приехать шефы. Даже какое-то начальство из райкома. Последнее известие по каким-то совершенно необъяснимым причинам повергло всех в истинную ярость суеты и оцепенение страха. Причины были непонятны, ибо почти никто из персонала по-настоящему не зависел от положительных и отрицательных впечатлений, от милостей и гнева этого начальства. Ну, может быть, отчасти – начальник лагеря. И отчасти – Слава. Хотя, на более опытный взгляд, этого «отчасти», затрагивавшего центральный орган лагерного механизма, могло быть вполне достаточно для таких волнений. Тоскину всегда казалось, что суэта эта объясняется скорее служебной нервозностью, абсурдным, неодолимым страхом перед начальством (это он мог понять) и, в еще большей степени, традицией армейских смотров, перенесенных начальником на мирную почву детского лагеря, чем истинной опасностью...

Медлительно ворочая в мозгу эти высокополитические соображения, Тоскин тем временем пересек территорию лагеря, выбежал на аллею героев и обмер. На мгновение утратив

бдительность и чутье, он наскочил на военный совет. Начальник лагеря в окружении своих подчиненных стоял под портретом пионера-мученика.

– Кисти! – крикнул Тоскин, не снижая скорости. – Ищу кисти.

Он даже помахал для наглядности кистью руки и приготовился ускорить бег, едва будет получен разрешающий жест начальственной руки. Но рука начальника замерла, поднялась ко лбу.

– Так... Кстатин Матвейч... Берете половину младшего отряда и – на уборку территории. Так, первое: прочесать все поле. Второе: окурки. Корки. Бумажки. Очистки. Шишки. Третье: обрывки. Понятно?

– Разрешите выполнять? – спросил Тоскин, изумляясь легкости перевоплощения: он мгновенно перенесся на двадцать лет назад и почувствовал себя солдатом действительной службы в криво сидящей гимнастерке. И даже мысли его приняли истинно солдатский поворот: «Зигзагами надо было идти, кругами, по забору, а лучше отсидеться у себя, интересно все же, пуговка застегнута у меня на ширинке или нет...»

Тоскин получил от Валентины Кузьминичны в свое полное распоряжение полтора десятка отборных мальков. Маленький Сережа и его возлюбленная были среди них. «Воля и труд человека дивные дива творят», – напутствовала их Кузьминична. И уточнила без уверенности: «Кажется, Маяковский». «Когда кажется, – грубо подумал Тоскин, – надо креститься. И главное – молчать». Валентина Кузьминична вильнула им на прощанье крупом.

– Так, дорогие разведчики! – сказал Тоскин, млея от нежности к своим подчиненным. – Дорогие юные мстители из Эльдорадо. Мы пойдем цепочкой, подбирая что ни попадя. А затем, не замедляя шага, скроемся в кустах. А вот уж там, скрывшись с глаз, мы сядем в кружочек и будем... Что будем?

– Рассказывать сказки, – сказала плотненькая девочка, Сережина любовь.

– Умница! – сказал Тоскин. – Просто умница.

– Она очень умная, – подтвердил Сережа, и Тоскин подумал, что мальчик этот любит что-то уж очень по-взрослому.

Это и впрямь была неплохая идея. Они укроются в лесу и в самый разгар этой холуйской суеты будут рассказывать сказки друг другу. Надо только скорей смываться...

Они растянулись цепочкой и быстро пересекли поле. Тоскин завел их в чашу и усадил на круглой полянке.

– А куда это девать?

Сережа показал Тоскину окурки. Другие тоже потянулись к командиру. Они протянули ему обрывки газеты, клочки ваты, спичечные коробки, банку с застывшей алюминиевой краской (той самой, которой покрывают гипсовые статуи героев, спортсменов, пионеров и вождей), обгорелую палку, пакетик от презерватива, изготовленного на близкой всякому русскому станции Баковка Белорусской железной дороги...

– Это мы все зароем, – сказал Тоскин.

Они вырыли ямку и похоронили мусор.

– А теперь сказку, – нетерпеливо напомнила Сережина девочка.

– Кто первый? – спросил Тоскин.

– Вы первый, – сказал Сережа.

Тоскин схитрил и рассказал им кинофильм про мальчика, который попал к индейцам. Фильм был длинный, и Тоскин устал. Но дети хотели еще. Хотя по ходу рассказа выяснилось, что фильм они все видели и помнят его гораздо лучше, чем Тоскин.

– А теперь сказку, – сказала Сережина девочка.

И Тоскину все же пришлось рассказать им сказку. Обыкновенную сказку про трех братьев, из которых самый обаятельный и человечный был, как водится, дураком и лентяем. Тоскин вошел в раж, и уж он отыгрался на двух старших братьях, подхалимах, зубрилах, отлич-

никах и стукачах, доставшихся нам от старого, феодального общества. А потом Тоскин прочел им детские стихи, которые помнил со времен своего собственного детства: «Жил да был крокодил...» В самой середине чтения он увидел Сережу и его девочку и вспомнил, что они хотят пожениться. «Надо отыскать дома эту книжку. Это будет прекрасный свадебный подарок: он истинный Ваня Васильчиков. Смотри, как они слушают, мои милые...»

Так успешно Тоскин не сачковал, пожалуй, со времени последней инспекторской проверки, в которой он принимал участие (в качестве инспектируемого) во время срочной службы, лет двадцать тому назад.

Как и все на свете, этот суматошный день, миновав самую высшую, самую жаркую точку, стал подходить к концу. Лагерь был открыт. Тоскин с ужасом вспоминал все эти хлопоты и тревожения – начиная с того странного, однако еще вполне сносного мига, когда он был выслан с пионерами в лес, на подъездную дорогу, чтобы машина «шефов» и машина «начальства» не только не сбились с пути, а, напротив, были остановлены и обласканы уже на дороге непреклонным и бдительным то ли «красным», то ли «зеленым» патрулем.

Потом были построения, перестроения (от которых Тоскин снова весьма успешно сачканул), потом было пение, и чтение, и концерт, и состязания... Тоскин из своего логова слышал, как Танечка читала «стих», рядовое произведение рядового поденщика, содержащее клятвы и заверения, одобренные лежалой рифмой, вроде «народы – свободы», «клянемся – собьемся», «труд – поют»... Тоскин слушал с болью и нежностью и размышлял о том, может ли регулярное и длительное чтение таких стихов испортить удивительный рисунок ее губ, стереть самую их припухлость. По длительном размышлении Тоскин пришел к выводу, что, вероятно, все-таки может, но только не сразу, наверно, еще не скоро.

– С полувзгляда узнавать врага! – Танечкин голос зазвенел, оборвался. Послышались аплодисменты. Слушатели были согласны узнавать врага с полувзгляда. Они были окружены врагами, они росли с этим словом. Даже их гуманизм, их доброта были ненавистью. «Гуманизм – это ненависть к врагу!» Так сказал самый знаменитый детский писатель. Он не указал, что было главное в гуманизме. Вероятно, ненависть. Гуманизм – это ненависть. Но может быть, и понятие – враг. У гуманизма – враги. Он сам враждует. Вот и опять выходит, что главное для гуманиста – ненависть. Детский писатель был прав. Тоскин чувствовал, что еще немного – и его ненависть к детскому писателю переведет его в ранг настоящих гуманистов-каратистов... И он постарался отвлечься, прислушался к топоту на площадке. Там кончались торжества.

Потом Тоскин услышал, как Слава за корпусом яростно, не стесняя себя в выражениях, распекает черного чертенка Юру, допустившего какой-то неуважительный, а может, даже опасный поступок в присутствии высоких гостей. Чертенок защищался умело, он был и умнее, и красноречивее Славы. Разговор этот, вероятно, зашел в тупик и угрожал веселому чертенку затрещиной. Тоскин понимал, что следует выйти, чтобы показать Славе, что есть свидетели, однако это раскрыло бы Славе как нынешнее дезертирство Тоскина, так и место, где он обычно скрывается...

Когда после мучительных колебаний Тоскин все же решился выглянуть, диспут уже был закончен. Слава спешил к делам руководства – об этом говорила его атлетическая спина, обтянутая белой рубашкой. Чертенок убежал очень весело и на бегу даже скорчил Тоскину рожу: это значило, что Слава побоялся его тронуть в этот торжественно-небезопасный день, а моральной победы как существо умственно отсталое Слава одержать не мог...

Наконец все, даже спортивные состязания, даже раздача призов, флажков и грамот, даже подведение итогов – все подошло к концу. Удовлетворенное начальство разъехалось, день догорал, усталых, возбужденных детей повели спать. Они уходили, еще жуя конфеты, привезенные из Москвы, меняясь фруктами, автомобилями, иностранными монетами, жвачкой, марками, пистолетами и другими предметами, имеющими истинную цену.

Утомленные сотрудники потянулись в столовую на свой первый дружески-учрежденческий сабантуй. Стол был накрыт в отдельной комнате, о существовании которой Тоскин раньше мог только догадываться, видя, как по временам исчезают за таинственной дверью директор и представители разнообразных инспектирующих организаций (от пожарной охраны до педагогических методцентров). В этой потайной комнате стоял длинный стол, а стены ее, сиротливо обойденные лозунгами, были окрашены противной масляной краской. Однако стол превосходил все ожидания. Уже начавший привыкать к лагерному общепиту, малопьющий гурман Тоскин увидел здесь цельную, чисто вымытую редиску, свежие огурчики, блюдо салата «оливье», рыбу, полукопченую колбасу и другие исчезающие ценности. Мысль о том, что все это лишь отчасти оплачено, а отчасти все-таки «списано» и украдено у его питомцев, пришла к Тоскину позже, когда миновал голод и рассеялось недолгое похмелье. Пока же стол привлекал свежестью красок («Общепит заставляет нас забыть истинный, натуральный вид продуктов питания», – подумал Тоскин), звонким обилием посуды, незапятнанной чистотой скатерти.

Эта привлекательность стола вносила в предстоящее мероприятие (в сущности, малопривлекательное для Тоскина) некую нотку торжественной праздничности. Дамы постарались поддержать ее пестрыми, безвкусными кофтами и вечерними туалетами, нелепыми и как бы даже маскарадными, а также париками, лихо сбитыми набок будто кавалерийские папахи. Приятной неожиданностью был лишь костюм Веры Чуркиной: она пришла в той самой очень коротенькой мини-юбочке, и от этого ноги ее, обнаженные до бесконечной длины, являли бесконечно волнующий контраст с нескладными пиджаками, кофтами и платьями старших. Славик и Валера явились в торжественных черных костюмах, на их атлетических фигурах выглядевших довольно жлобски. Поразил Тоскина (который явился в чем был, только застегнул, в порядке исключения, все пуговицы на ширинке) таинственный сторож, на котором – при всем прочем довольно небрежном облачении и телогрейке – был галстук-бабочка. О начальнике можно было сказать, что он был в штатском: несмотря на уже немалую, видно, жизнь, проведенную вне армии, его партикулярное платье все еще наводило на мысль о переодевании.

Повариха заканчивала на столе последние приготовления, и Тоскин не удержался от комплимента. И хотя это был комплимент сервировке стола, она приняла его близко к сердцу и начала активно бодаться грудью. Наконец все уселись, и Вера Кузьминична как профсоюзный, а может, также и партийный лидер предоставила слово начальнику.

Он встал, дождался тишины и начал очень-очень тихим голосом, что должно было придать особую значительность его словам (значительность, но не интимность). Он научился этому приему у кого-то из вышестоящих товарищей, и способ этот имел те преимущества, что люди, не расслышавшие ни слова, могли подумать, что они пропустили нечто воистину значительное.

Тоскин сидел рядом, слушал с интересом, расслышал все и был немало удивлен. Это был самый настоящий доклад профсоюзно-жэковского деятеля средней руки, приуроченный к какому-то неизвестному, но вполне официальному празднеству.

Начальник рассказал о победах страны в космосе, о злейшем враге всего нормального человечества – сионизме, о сказочном преображении Нечерноземья, а также о роли детей как пособников комсомола, который, как известно, является, в свою очередь, подручным партии... На этом месте, отдаленном от начала выступления добрым полчасом, мысль его сделала неожиданный поворот, и он вдруг провозгласил здравицу руководителям районного комитета партии, отрезав себе таким образом путь к продолжению, потому что все стали чокаться, а сторож почему-то даже сказал:

– Горько!

Повариха, загодя занявшая место между начальником лагеря и Тоскиным, стала вынуждать последнего выпить стакан до дна, и Тоскин выпил. Пил он редко. При этом сразу пьянел, ненадолго, а иногда не пьянел вовсе. Сейчас он захмелел слегка и навалился на еду. Впрочем, наедался он еще быстрее, чем пьянел. Повариха часто привставала с места и, оглядывая стол,

клала свою грудь на плечо Тоскина. Это не было для него неприятно – впрочем, не создавало и особых удобств. Он с сожалением думал о том, что на кухне, вероятно, царит климат, близкий к тропическому: в свои сорок она выглядела такой безвозвратно поношенной, как могут выглядеть только русские женщины, живущие на Юге.

Когда повариха, после пятого или шестого тоста (один из них, отчего-то для всех неожиданный – «За детей!», – был предложен самим Тоскиным), удалилась по делам на кухню, начальник вдруг доверительно склонился к Тоскину и сказал:

– Видели, какая у нее грудь? Склад ПФС.

– Да, да, склад продовольственно-фуражного снабжения... – ностальгически припомнил писарь комендантского взвода рядовой Тоскин и, точно услышав голос старшины («Рядовой Тоскин, вам касается»), робко пояснил: – Я, собственно, был по ОВС, по обозно-вещевому...

– Тысяча одна ночь. Вообще аппетитный бабец. Надо ее уеть, как вы полагаете? Я хотел вначале Валентину Кузьминичну, вон, поглядите, у нее зад какой, спинища, лошадь, конь с яйцами? А потом передумал – ну ее, по общественной линии, то-се, интеллигенция, педагог, только свяжись, как вы думаете?

Тоскин склонил голову, что должно было обозначать согласие с мыслями руководства по этому щекотливому вопросу. Если быть откровенным, он и впрямь считал, что начальству следует отодрать повариху, что она предпочтительней шкрабши. А главное, для него приятной неожиданностью (после помпезно-безысходного застольного доклада) показалось это простое, как мычание, и столь же искреннее изъяснение начальственных мыслей. Боевой командир в двух словах изложил подчиненному (и притом со всем обаянием доверия) свою жизненную программу, не делая вид, что он способен на что-то другое (а может, и не подозревая о существовании другого), чем завоевал симпатию подчиненного. Тоскин уверен был, что темная, как ночь, первобытная Кузьминична никогда не поднялась бы до таких высот откровенности. Нет, конечно, Монтень не причислил бы военных к избранному народу крестьян и философов, но, право же, это был не самый тяжкий случай...

Неожиданно начались танцы. Слава и Валера вытащили на середину Веру Чуркину, и они втроем предались современной ритмической гимнастике. У них получалось совсем не худо, особенно у Веры. Ее длинные ноги волнующе прогибались и вздрагивали, волосы бились о бедра. Валера и Слава танцевали неплохо, может, чуть-чуть слишком спортивно, и Тоскин, в который уж раз за свою жизнь, посетовал, что не может достичь успеха ни в одной области, связанной с физическим совершенствованием и упражнением. Он завидовал сейчас Славе и Валере и немножко ревновал к ним Веру, хотя не связывал с ней никаких надежд и планов. Она была просто очень хороша и привлекательна в своей десятимиллиметровой юбочке, она даже волновала его, и было бы жаль, если бы она досталась сегодня (почему-то именно сегодня) этим жлобам. А это могло произойти совсем просто: Тоскин не мог себе представить, как она, такая сонная, пассивная и в то же время, кажется, сексуально возбудимая, станет сопротивляться.

Но жлобы, судя по всему, не проявляли никакой настойчивости. Они танцевали – вот и все. Когда они не танцевали, то для поддержания компании говорили тосты о дружбе, о пионерской чести – и глотали водку. Иногда они деловито о чем-то переговаривались, и Тоскин на мгновение заподозрил даже, что они гомики. Однако тут же с возмущением отверг эту гипотезу: даже в самом темном гомике можно обычно уловить какой-то, пусть совсем незначительный, элемент растления искусством (пусть это даже будет пристрастие к джазу, к кинематографу, куда уж ниже, или к художественной гимнастике). Эти двое были цельными и безупречными – как гипсовый пионер на аллее героев.

После восемнадцатого тоста Слава, закончив тайные переговоры с Валерой, повеселел и даже подсел к Тоскину с откровенным разговором: все-таки они были мужчины и соратники (Тоскину показалось даже, что он представляется Славе человеком переходного возраста – от сторожа и начальника к самому Славе), они были коллеги, борцы с анархической пионерской

массой. Слава решил раскрыть Тоскину свое жизненное кредо, потому что считал это кредо достойным уважения, доказывавшим, что Слава был не какое-нибудь ничтожество, пропойца и вечный вожатый, а настоящий человек, и притом человек современный. Так вот, для него, для Славы, этот пост старшего пионервожатого (у него, если хотите знать, бывали лагеря и покрупней этого) был временным этапом – просто он, Слава, много занимается общественной работой и скоро уже вообще перейдет в райком. Тот парень, который здесь раньше был пионервожатым, теперь он уже заведет в райкоме, так что у него, у Славы, программа вполне четкая – райком комсомола, потом дальше. Он человек простой, он любит компанию, а этот, который здесь раньше был старшим вожатым, он звонит и говорит, что запросто... Так что у себя в НИИ, где он наладчиком, Слава уже не появлялся, наверно, год, и этот, который тут был раньше...

– А давайте анекдоты рассказывать, – сказала вдруг повариха. И сама первая завела анекдот про какую-то там парижскую любовь, которая для всего цивилизованного мира, как известно, является образцом черт знает чего. Это самое черт знает что было таким мерзким, что повариха о нем знать не хотела и не знала, а что до ее анекдота, то он был самый детский и невинный, о длине мужского органа, а концовку его, самую соль («там была одна фраза, очень смешная»), повариха, конечно, забыла, да она бы ее все равно не смогла выговорить, потому что заранее начала смеяться. Услышав начало анекдота, Слава отмахнулся и перевел разговор на дисциплину в лагере.

Хаотическая масса пионеров, как уже и раньше подозревал Тоскин, представлялась ему враждебной, точно китайская армия, стоящая вдоль Амура. С этими мерзавцами надо быть строгим и беспощадным, потому что они уважают только силу. О, они не так просты, эти дети, они очень коварны, и нет таких пороков на земле, каких бы у них не было. Уж он-то, Слава, знает, как с ними обращаться...

Тоскин смотрел на Славу с искренним страхом, который сильно захмелевший уже Слава принял за признание и восторг, а их ему почему-то все еще не хватало...

Поварихе пришлось закончить свой рассказ: она так и не смогла припомнить смешную фразу, зато сама насмеялась всласть, причем начальник смотрел на нее с большим одобрением.

Услышав, что за столом снова установилось молчание, Слава сказал:

– А вот еще есть анекдот. Из школьной жизни. Чудак хотел пригласить десятиклассницу. Пригласил и не знает, как за ней ухаживать. То-се. Диск ей поставил фирменный. Мороженое купил, портвейн. Картинки на стол положил из журнала. Она приходит, пальто снимает, он смотрит – на ней школьная форма, ну, думает, все пропало, пионерский сбор проводить будем, это, говорит, зачем? А она: «Утром я от вас в школу пойду, это чтоб не переодеваться».

Смеялись добродушно и умеренно.

– Да, это точно, – сказала Валентина Кузьминична. – А вот еще – кто знает школьные приметы? Какой первый признак беременности? Не знаете? Уроки учить не хочется.

Тоскин, оглядывая присутствующих, вдруг с облегчением заметил, что начальника эти анекдоты не веселят, даже посуровел он как-то и вдруг сказал:

– Давайте, товарищи, споем какую-нибудь хорошую песню.

И Валентина Кузьминична, сразу отметившая, что она не попала в струю, первая затаила:

Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили...

И по лицу начальника увидела, что угадала. Хотя ему уже не пришлось ходить с Лазарь Моисеичем Буденным на рысях на большие дела, он тоже был сын орлиного племени, над

ним тоже реяло знамя интендантских боев, и поэтому он запел, а за ним дружно грянул весь коллектив воспитателей и сотрудников:

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости...

«Интересно, о чьих костях идет речь? – размышлял Tosкин. – Вероятно, все-таки это про кости белых. Не стал бы поэт писать про кости красных, что они тлеют. С другой стороны, у красных кости тоже белые. Вот и дальше: «помнят польские каты»...»

Песня сменяла песню. Лязгали танки, и даже в самых сердечных песнях шумели моторы, потому что у людей этого племени был «вместо сердца пламенный мотор», без пощады била по врагу четырехколесная тачанка-ростовчанка, в светлую минуту произведенная на свет поэтом Рудерманом. («Бедняга, – подумал Tosкин, – больше он ничего не смог произвести, так и дожил до наших дней как автор этой стреляющей брички, впрочем, как и Всеволоду Иванову, писавшему потом еще добрые тридцать лет, пришлось умереть автором бронепоезда...»)

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет...

Концерт затянулся, и Tosкин уже стал подумывать о том, как бы это уйти незаметнее, когда повариха вдруг – вот, живая душа! – внесла в концертную программу долгожданные перемены.

– Выпьем! – крикнула она. – Давайте выпьем за нашего дорогого начальника... И давайте что-нибудь повеселей. А? Где гармошка? Давай, наяривай...

Она вдруг выскочила на середину, взмахнула салфеткой и пошла, неистово тарабаня каблуками в пол, точно желая насквозь пробить казенные половицы:

Э-эх! Милка с летчиком гуляла,
Вместе делала полет,
Через год она родила
Трехмоторный самолет!

И тут сорвался с места сторож, забил сапожищами в ту же самую, уже трепещущую половицу и заорал хриплым голосом, словно бы самой природой сотворенным для таких частушек:

Я по улице прошел,
Путной девки не нашел:
То брюхата, то с родин,
То подбитый глаз один.

Бабочка и сапоги придавали сторожу вид артистический, а частушка его вызвала одобрительную улыбку начальства, тем более что она шла в поддержку поварихино тоста и ее почина. Видя это, сторож продолжал с видом невинным и даже как бы чуток сонным:

Я на печке спала
И чулки обоссала,
И сию любуюся,

Во что же я обуюса.

Тут сторож даже придал себе какой-то кокетливой томности, как делал потом всякий раз, исполняя женскую партию, а повариха рядом с ним почувствовала себя вдруг такой чистюлей, такой девочкой и запела что-то уж вовсе анахроническое:

Не ругай меня, мамаша,
Не ругай грозно —
Ты сама была такая,
Приходила поздно.

– О-ох! – Сторож повертелся, потопал, взмахивая платочком, и ответил с жалобой:

Никому так не досадно,
Как моему Шурочке:
Сам на печке, хуй в горшечке,
А муде на печурочке.

Валентина Кузьминична со страхом и уже заготовленным возмущением взглянула на начальство, но оно не ответило на ее немой вопрос. Начальник брезгливо и упорно расковыривал банку с грибами: это было, конечно, опасное занятие – уж какой-нибудь из этих ненадежных, черных-пречерных грибов мог запросто отправить человека к праотцам...

Повариха зарделась, но не сдала позиции:

У меня на сарафane
Петушок да курочка.
Меня трое завлекали —
Петя, Ваня, Шурочка.

Она лихо взвизгнула, затопала и добавила еще:

Петя, Ваня, Шурочка,
Да я же вам не дурочка.

Сторож басовито поддержал эту сарафанную тему:

У тебя на сарафane
Петушок с цыплятами,
Девки моду поймали
Ночевать с ребятами...

Усыпив бдительность Валентины Кузьминичны, он страшно задолбил сапогами, а потом, остановившись перед ней, спел:

Запрягу я кошку в ложку,
А собаку в тарантас.
Повезу свою разьебу
За границу напоказ.

Валентина Кузьминична вспыхнула, а сторож, фасонно покружив, остановился на том же месте и продолжил:

Я на печке лежал,
Да на самом краешке,
Я схватился за пизду,
Думал, это варезка.

Валентина Кузьминична встала и нетвердо пошла к выходу. Это была достаточно заметная акция, однако все же недостаточно демонстративная с ее стороны, ибо начальство не давало никакого сигнала и по-прежнему ковырялось в грибах. Тоскин получил истинное удовольствие от смены репертуара, он высоко оценил отвагу и артистизм сторожа (он был здесь один истинный, шестидесятирублевый пролетарий, которому нечего было терять, кроме цепей), однако Тоскину жаль было Веру, которая краснела против своей воли и не знала, как ей себя держать и куда глядеть.

– Ладно, старый, кончай, – небрежно бросил Слава, оторвавшись от увлеченных переговоров с Валерой.

Но сторож не обратил на Славу никакого внимания. Зато теперь в бой бросилась повариха – и запела с торжеством (потому что соперница-то ее, вильнув своим завидным крупом, бросила поле брани, бежала, сдалась, ушла вместе со своими анекдотами, со своим законченным институтом и общественными нагрузками):

Меня милый изменил,
Изменил за дело,
Чтоб любила одного,
А десять не имела.

И сторож поддержал ее, напористо и нежно:

«Куда, миленький, уехал?»
«Дорогая, на Кавказ!»
«Дорогой, возьми с собою!»
«На какой ты хуй сдалась?»

– Мы, пожалуй, можем идти... Во всяком случае, можем пойти прогуляться, – сказал Тоскин, наклоняясь к Вере.

– Вы думаете? – Она почти опрометью бросилась из-за стола.

Тоскин стал пробираться за нею, а сторож еще басил им вслед про свой отъезд на Кукуй и в другие малоизвестные места, смачно посылая при этом свою милку куда подальше...

Ночь была прохладная, нежно-звездная, и Тоскину сразу стало жаль вечера, проведенного вдали от этого неба и этой вечерней прохлады – еще один вечер...

– А ничего было... Да? – спросила Вера. – Весело.

– Весело?

– Ну, так. Ничего, – сказала она послушно, давая ему понять, что ей, в общем-то, все равно, как было, и она вообще не настаивает на каком-нибудь своем мнении.

– Мы можем пойти погулять, – сказал Тоскин, разглядывая в полумраке длиннющие Верины ноги.

– Только надо в корпус зайти. Пионерики поглядеть, – сказала Вера.

– Да, да, идем, – согласился Тоскин, отмечая с волнением, как она прогибается на ходу, как плещут о бедра ее длинные волосы и ходит ходуном юное гибкое тело на длинных ногах.

У корпуса, когда она уже поднялась на ступеньку крыльца, он вдруг удержал, потянул ее руку и увидел, что она не может стоять, падает в его сторону. «Вот так будет, когда мы пойдем в лес, или в поле, или ко мне в комнату, – подумал Тоскин, – я потяну ее – и она сразу начнет падать...»

«А вы бы чего хотели, Котик? – спросил у Тоскина внутренний голос. – Вы бы хотели, чтобы она стукнула вас по личности?»

– Я пойду с вами, – сказал Тоскин Вере. – Посмотрю, как они спят.

В палате мальчиков стояла напряженная тишина, и, только выйдя на улицу, Тоскин понял, в чем дело: мальчишки не спали, только притаились и ждали, пока они уйдут. Девочки дышали ровно и разнообразно – верилось, что они спят. Тоскин вошел вслед за Верой, сделал шаг от двери и увидел спящую Танечку. Свет фонаря через занавески падал ей на лицо. Мягкие губы ее были полураскрыты, на нижней губе по-детски блестела слюна. Тоскин с трудом удержался от соблазна вытереть ей ладонью губу, поправить одеяло, дотронуться до плеча.

– Я, пожалуй, пойду, – шепнул он вдруг Вере.

– Хорошо, – сказала она покорно. – А я лягу спать. Устала. Вставать рано.

– Спокойной ночи, дитя мое, – сказал Тоскин, не зная наверняка, к какой из них двоих он обращается. Обегодились ему в дочери. – Дитя мое... – твердил он, возвращаясь. – Что за милое дитя. Мое милое дитя...

* * *

Жизнь вошла в колею. Тоскин, который в первые же дни составил обширный план эстетического воспитания, так порадовавший приезжее начальство, теперь наводил марафет «выполнения». Ему пришлось проводить «литературную игру», которую он рекламировал в своем плане под четырьмя разными соусами (и в четырех разных разделах плана): как «литвикторину», как «литературную игру», «литературный КВН» и «литературный марафон». Вера пыталась помочь ему своей методичкой, где была обозначена игра «Литературный КВН» и дана точная инструкция для двух соревнующихся команд Клуба Веселых и Находчивых:

«Ведущий указывает на обыкновенный пяточок и листок красной бумаги, на котором латинским шрифтом напечатан какой-то текст. Очевидно, это листовка. Одно слово ребятам удастся прочесть: Батиста. Значит, листовка кубинская. Наконец одна команда догадывается: и листовка, и советский пяточок принадлежат Пепе – герою книги «Пепе – маленький кубинец» В. Чичкова. Отгадавший получает два очка».

Тоскин оказался в трудном положении, так как не был знаком с творчеством В. Чичкова. Тогда он решил вернуться к классике. Поначалу он решил использовать принцип, предложенный методичкой, и долго изображал перед Верой то «Анчар», то «Пророка», то «Три пальмы», то «Еврейскую мелодию»...

Вера сказала, что по-настоящему похожей была только битва с барсом из поэмы Лермонтова «Мцыри», но битва эта окончательно истощила физические и нравственные силы Тоскина. Он решил отказаться от театральных фокусов и пошел по пути наименьшего сопротивления. Он выступил перед пионерами в скромной роли чтеца. Аудитория была немаленькая, потому что Вера привела к нему весь отряд, строем.

Мне не к лицу и не по летам, —

читал Тоскин, —

Пора, пора мне быть умней,
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей.

И смотрел на Танечку. Губы ее были полураскрыты, глаза затуманенны. Впрочем, и остальные тоже слушали. Даже черненький чертенок сидел смирно. Даже полногрудая Танина подруга. Тоскин читал им любовные стихи, всякие романтические штуки и даже эпиграммы. От Пушкина он перешел к Лермонтову, А. К. Толстому, Саше Черному, Гумилеву, Пастернаку, отважился прочесть стихотворение Мандельштама... Это было поразительно – они слушали. И может быть, даже слышали. Он не мог поручиться, что они понимали и воспринимали все. Ну а кто же понимает и воспринимает все? Но что-то шевелилось в их душах, музыка стиха, заклинания Тоскина их завораживали. Даже старомодный рокот Державина, даже смиренная гордыня Баратынского... Это был полный успех.

Позднее Тоскин написал в отчете, что он читал стихи, посвященные эстетическому воспитанию трудящихся, развитию в них патриотических чувств и преданности своей социалистической родине. Он растянул это мероприятие (в соответствии с вышеизложенным) на четыре пункта плана и решил, что с избытком выполнил свой долг перед подрастающим поколением. Однако его педагогические усилия еще нужны были народу. Он убедился в этом назавтра, в полдень, когда дремал на лаврах в своей берлоге и предавался праздным мыслям о литературе.

Дверь его берлоги приоткрылась, и в нее просунулась поварихина грудь. Теперь, когда повариха больше не бодала его грудью по всякому поводу и не угрожала его сексуальному равновесию, когда она окончательно завоевала начальника лагеря, однако при этом не употребила во зло свое общественное влияние (и даже питание при этом не сильно изменилось к худшему), Тоскин стал гораздо терпимее относиться к этой простой, одинокой женщине. А она сохранила к нему почтительный интерес, видя в нем одном среди присутствующих черты интеллигентности и интеллектуализма, к которым так чувствительны женщины (даже те, которые не знают этих слов).

– Я вот посоветоваться, – сказала повариха.

– Да, да, пожалуйста, – сказал Тоскин, приводя в порядок свои брюки.

– Сережка-то мой жениться надумал, – сказала она и заплакала.

– Это вот маленький такой, Сережа, – на всякий случай уточнил Тоскин.

– Ну да, он, один у меня... – Повариха отерла слезу.

– Сколько ему? Девять?

– Восемь...

– Ах, восемь, – сказал Тоскин задумчиво. – Так чего ж тут плакать? Ранние браки... Я лично одобряю ранние браки. А-то вовремя не женишься и будешь вот... – Тоскин развел руками, и стало очевидно, что майка на нем рваная.

– Заверните мне чего надо перечинить, – сказала повариха и всхлипнула.

– Так вот я лично не вижу ничего худого... Я вот читал, что Неру... А может быть, Ганди. Это безразлично – так вот он тоже очень рано женился. Кажется, в девять. Конечно, тут возникают кое-какие трудности у родителей... Но в любом случае у родителей есть трудности.

– Прокормить-то я прокормлю, – сказала повариха, успокаиваясь. – С моей специальностью с голоду у меня не околеют.

– Вот видите, – сказал Тоскин. – Тем более плакать нечего. Ее, кажется, Наташа зовут, девочку? А может, и те, родители ее, тоже помогут...

При мысли о тех родителях горизонт омрачился. Повариха снова начала плакать.

– Это они узнают, что ж тогда будет... Каб оно от меня зависело... И начальник чего скажет? А Валентина-то Кузьминична...

– Да. Это будет ужасно, – сказал Тоскин. – Они умрут от страха. Но еще раньше они нам детей... Вот что самое страшное.

Повариха теперь плакала навзрыд. Положение было безнадежным.

– Они, конечно, могут еще десять раз передумать, наши детишки...

– Не. Он в отца, Сережка. Такой решительный. Отец вон сказал: «Жизни себя решу или уеду».

– И решил?

– Уехал.

Они долго и тягостно молчали. Боевая песня доносилась с линейки, где Слава проводил урок строевой подготовки.

– Я вижу один выход... – сказал Тоскин, и повариха с надеждой взглянула на него. – Это надо сохранить в тайне, – сказал Тоскин, чувствуя неудобство от того, что теперь он замешан еще в одну чужую тайну.

– Как же хранить, когда они, вон, пожениться хотят, – сказала повариха и сама испугалась своих слов.

– Пусть поженятся, – сказал Тоскин. – Так это даже скорее кончится, эта их затея... Или не кончится, – добавил он мечтательно.

– Ну и как же, чтоб не узнали?

– Надо сохранить этот брак в тайне. Они что, хотят – венчаться? Церковный обряд?

– Зачем? Что ж они дурнее нас, что ли?

– Да, да... – сказал Тоскин. – Мы не рабы. Рабы не мы. А как же они хотят?

– Расписаться. Как все. – И повариха заплакала. Она плакала долго и так безутешно, что Тоскин, не видя, чем еще он может остановить этот бесконечный поток слез, сказал:

– Ладно. Присылайте их. Пусть приходят. Я их распишу. Только совершенно секретно... И не надо. Не надо! Не за что меня благодарить. Я это вовсе не для вас. Ради них.

И, сказав так, Тоскин понял, что это чистая правда. И еще раз удивился тому, что чем меньше он думает, тем точнее он выражается. Тоскин не был слишком высокого мнения о своем интеллекте.

Конечно же, он сделает это ради них, таких взаврадашных и прекрасных.

Литературный труд выгодно отличается от труда композиторского, труда художника или скульптора: не нужен дорогостоящий рояль, не нужны нотные переписчики, не нужны холст, бумага, краски, светлая студия. Бывают литераторы, которым нужен стол, которые исписывают горы бумаги, стучат на машинке, диктуют в дорогие диктофоны. Тоскину даже этого было не нужно. Он творил лежа, так сказать, в уме. Но даже ему, как очень скоро выяснилось, трудно было найти на земле уголок, удобный для творчества. Ибо едва он улегся на подстилку в своей берлоге после полдника, едва он успел вознестись мыслью в далекий кабардинский кишлак, куда он приглашен был (поехал или не поехал? – это еще надо решить) на праздник обрезания (кстати, что они там режут, в конце-то концов?), едва он ослабил поводья реализма, чтобы его художественная мысль могла забраться в дебри истинной художественности, – как чей-то натужно-оптимистический голос закричал над головой у Тоскина:

Мы каникулы подарим деканату
И в пути на верхней полке отдохнем.

Это был голос очень упитанного мужчины, который много кушал и отдыхал, притом, конечно, не только на верхней полке. Это был голос жлоба, который не уступит и дня из своего законного отпуска. Впрочем, Тоскин понимал законы творчества: жлоб изображал нищего студента:

Позади – экзамены,
Впереди – экзамены,
Впереди, пожалуй, потрудней.

Нет, это как раз можно было понять (но не простить). Единственное, чего не понимал Тоскин, – это откуда взялся голос. Нет, Тоскин был не так малоразвит, чтобы не понять, что это радио, самое шумное, а потому (нет, не только потому) самое ненавистное изобретение XX века, вестник дурных перемен. Тоскин не мог понять, откуда взялось радио у него над головой. Ведь его не было все эти дни. Тоскин решил выждать. И он не дождался ничего доброго. Сначала шла какая-то рифмованная информация под натужную музыку (натужным же голосом):

Реки гремят в турбинах,
В песнях любой машины —
Наш вдохновенный труд!

Дальше последовали искренние, но малохудожественные, хотя и высокооплачиваемые, клятвы:

Если ЦК нам скажет,
Если народ прикажет —
Жизнь отдадим мы даже,
Чтобы исполнить долг.

Потом хор пенсионеров грянул с большим задором:

Так нам сердце велело,
Завещали друзья...
Комсомольское слово,
Комсомольское дело,
Комсомольская совесть моя!

Диктор, точно желая снять с себя ответственность (наивному Тоскину почему-то всегда казалось, что дикторы стесняются своей работы), пробормотал, что стихи эти (ах, это еще и стихи!) были написаны Львом Ошаниным.

Тоскин понял, что это всерьез. Он выбрался из берлоги и увидел на крыше «серебряный колокольчик» громкоговорителя, не замеченный им раньше по причине его («колокольчика») немоты. Когда-то старик абсурдист Бернард Шоу сказал, что радио – величайшее изобретение века: повернул ручку – и оно замолчит. Из всех наивных суждений Шоу это было, пожалуй, самое наивное. При всей своей наивности (вообще, в нашей части света люди все-таки не опускаются до наивности западного интеллигента) Тоскин понимал, что радио бывает не так легко выключить: легче бывает или притерпеться, или оглохнуть. Оба разумных выхода вызывали в Тоскине протест, и он решил бороться. Вооружившись перочинным ножом, он отправился искать столб с предательским проводом. Он понимал, что то, что он задумал, есть не что иное, как диверсия. В худшие времена это грозило бы ему – страшно подумать, чем бы это ему грозило. Но и в наши, мягкие, прекрасные времена дело это могло пахнуть керосином – так что Тоскин подражал поступи команчей, хитрости маленьких партизан, ловкости прославленных красных дьяволят: сам Руслан Карабасов не провел бы операцию более успешно.

Однако едва Тоскин успел перерезать провод, как появился отряд Валеры, топавший в кино.

– Что-то случилось с радио! – крикнул Валера тревожно.

– Да, да, да, – лицемерно запричитал Тоскин и уже хотел отойти от столба, как вышел Слава.

– Безобразие! – сказал он. – Халтурщики. Только радио заработало как следует – и вот тебе... Уверен, что эта наша сволота, пионерики. Ух, поймаю – руки-ноги выдеру...

Тоскин поежился и пошел прочь. Боком. Пожимая плечами: отчего они так помешаны на этом радио? Может перегореть свет, засориться сортир, опоздать на два часа обед, библиотека может закрыться на десять дней для переучета предвыборной литературы – все что угодно, только не радио. Вероятно, когда играет радио, у этих людей сохраняется ощущение, что жизнь бьет ключом, что все в мире прекрасно. А здесь радио увеселяет пионерскую массу (снимая к тому же груз забот с тех, кто отвечает за этот участок борьбы), радио ведет агитрабату, радио сообщает точное время и сегодняшнюю погоду лучше и точнее, чем это делают часы или проливной дождь... А главное в том, что эти люди умеют не слышать радио, даже если оно включено на полную громкость... Вернувшись в берлогу, Тоскин дал страшную клятву: он будет бороться с этим злом всегда, несмотря на опасности и технические трудности. Тоскин с детства ненавидел слово «борец». Однако если бы его назвали «борцом против радио» (где угодно, хоть в некрологе), он бы не обиделся.

В тот вечер Тоскин перерезал провод еще в двух местах. Один обрыв он сделал там, где провод проходил под землей, и он очень гордился этой операцией. В ее осуществлении ему очень мешали пионеры. В тот вечер в лагере было кино. Киносеанс был здесь мероприятием исключительным, и, если бы не радиопроблемы, Тоскин и сам взглянул бы одним глазком на экран, тем более что Слава за ужином так нахваливал фильм. Позднее Тоскина поразило, что так много пионеров слоняется по территории. Одного из них, упорно не желавшего отойти от Тоскина, который копал землю у столба, Тоскин спросил, про что сегодня кино.

– Про чекистов, – сказал пионер. – Чекисты под водой.

– Отчего не смотришь? – спросил Тоскин.

– Все ушли, – сказал пионер. – А я что, рыжий?

Тоскину пришлось прибегнуть к крайним мерам, чтобы остаться наконец одному у столба.

– Как фамилия? – спросил Тоскин.

Пионер начал отступать.

– Номер отряда... – Тоскин закреплял успех.

...Наутро он узнал о плодах вечерней активности пионеров. Им удалось разобрать на мелкие части кровать вожатого Валеры. С точки зрения Тоскина, в этом была только одна печальная сторона: ему не у кого было узнать, что же делали чекисты под водой.

* * *

Военная игра «Зарница», которую с таким шумом готовили начальник лагеря и старший вожатый, наконец разразилась. Из какого-то военкомата приехала машина, и пионеры стали радостно разгружать обмундирование х/б, противогазы и даже автоматы (Тоскин надеялся, что уже непригодные для убийства). Руководил этой операцией капитан с очень желтым лицом. Судя по цвету лица, это и был тот самый Геморрой, который ведал секретной частью в полку у Тоскина еще в пору его солдатской службы, двадцать лет тому назад. Геморрой приходил в полк раньше всех, запирался за дверью, обитою кожей, и появлялся только перед концом дня, желтый, с красными глазами. Так как секретные документы поступали в полк редко, полагали, что Геморрой спит там у себя, за толстой дверью. По здравом размышлении Тоскин вычислил, что тому Геморрою теперь должно было быть уже лет шестьдесят, так что это был все-таки другой Геморрой. К тому же этот Геморрой оказался очень активным, и это его стараниями

Тоскин был поставлен во главе какого-то взвода, державшего оборону за картофельным полем, у канавы. Отсиживаясь в канаве, Тоскин рассказывал своим бойцам об удивительной жизни Сервантеса. Он уже хотел перейти к рассказу о Дон-Кихоте, когда вдруг началась атака.

Дети были возбужденны. Им нравилась война и нравилась армия. Если б они сохранили эту любовь, может, и военная служба показалась бы им желанной... У Тоскина не было желания выварить их в том же котле, в который когда-то угодил он сам. Он определенно желал им добра. Правда, он не мог бы сказать наверняка, что явится для них добром.

«Настоящий педагог должен это знать», – злорадно сказал внутренний голос Тоскина, заглушаемый радостной детской стрельбой.

Взвод Тоскина отстоял свой картофельный фланг и пошел сдавать оружие. По боковой аллее с маршевой песней шагал взвод Валеры. Возле лазарета Валентина Кузьминична ругала маленькую санитарку Наташу за то, что она извела на Сережу все бинты.

– Но ведь он ранен! – воскликнула Наташа, и слезы показались у нее на глазах.

Война окончилась. Были вручены призы и военные грамоты. Геморрой сказал речь, пожелав всем успехов в боевой и политической подготовке. Слушая его речь с закрытыми глазами, можно было подумать, что говорит начальник лагеря...

Потом лагерь стал затихать ко сну. Тоскин отдыхал на крылечке своей берлоги. Мимо пробежал возбужденный, счастливый Слава.

– Ну, мы повоевали, Кстатин Матвеич, а? Ну, мы дали жизни. Ваш взвод нынче молодец. А что вы все один да один... Надо же отметить. – Слава был сегодня великодушен, и ему жаль стало одинокого чудака Тоскина. К тому же Тоскин, вероятно, показался ему человеком безвредным – не очень старый и безвредный, то есть почти свой. Заговорщицки наклонившись к Тоскину, Слава сказал: – Мы с ребятами собрались обмыть... Есть тут одна хата... – Слава неопределенно махнул в сторону оврага. – Можем вас взять...

– Спасибо! – сказал Тоскин, тоскливо ища причину для отказа. И вдруг просиял: – У меня что-то с животом нынче: несет, как из пушки... Дрист напал. Может, из-за войны.

Это был верный тон. Он отказался, но не перестал быть своим в доску.

– Глядите, – сказал Слава. – А то водочка, лучше нет при любой болезни.

– В другой раз, – сказал Тоскин, и Слава жизнерадостно побегал дальше.

«Значит, они там поддают, – подумал Тоскин. – Так я и думал. А что еще они могли придумать? Впрочем, и все прочие не смогли придумать ничего другого...»

Лагерь затих. Луна вскарабкалась на плоскую крышу столовой, посеребрила пионерку с горном, малолетнего вождя со стопкой толстенных книг, плечистую женщину с веслом. Тоскину вдруг стало грустно от того, что дети уже легли спать. Все-таки с ними не так скучно. Они украшают и оживляют мир своей красотой, самой своей жизнью, они под стать этому прекрасному миру, сотворенному Господом. А теперь вот они уснули, и бодрствуют только взрослые – безобразные, глупые насильники. Впрочем, нет, не все они так уродливы и агрессивны... Вера вот, кажется, не безобразна и не назойлива. Тоскин пожелал, чтобы она явилась сейчас, чтоб она догадалась и пришла сама. Словно в ответ на свое пожелание он услышал легкие шаги. Вернее, они даже не были легкими, они были только небрежными и неспешными. Но и легкими тоже. Человек этот умел ходить. Тоскин вспомнил, как ходит Вера, и ему захотелось, чтоб это были ее шаги. Ему даже показалось, что шаги эти – неторопливые, сонные... Тоскин в ожидании глядел на угол корпуса, за которым уже совсем рядом... Из-за угла вышел сторож.

– А, это вы? Добрый вечер! А я давно хотел с вами побеседовать, но вас не видно, – Тоскин говорил с нарочитой бодростью, чтоб скрыть свое разочарование. В то же время он не говорил и неправды, потому что из всех мужчин, которые были в прошлый раз на сборище, с одним сторожем у него возникло желание перекинуться словом, и Тоскин даже размышлял однажды о том, где же искать этого невидимого сторожа, где сумеют его найти потенциальные воры-грабители.

– А что ж, – сказал сторож. – Жить в соседях – быть в беседах. Отчего умным людям вечерком не побеседовать?

– Мне еще тогда... Помните... Когда вы плясали... Но там, все эти странные, глупые тосты...

– А-а-а, там, – сказал сторож. – Там чего ж... Каковы встречи, таковы и речи.

– Эта бесконечная, унижительная болтовня...

– Оно верно подметили. Чьи-то курочки несутся, а наши в крик пошли. Однако не все, что говорится, в дело годится.

– Да какое там дело? Где оно? – Тоскин впервые чувствовал единомышленника. – Кто делает дело?

– Оно тоже верно, – сказал сторож. – Крылаты курицы, да нелетны.

– А песни? – сказал Тоскин. – Про великого покойника...

– Да уж. – Сторож присел рядом с Тоскиным. – Славили, славили, да под гору сплавили. Хотя и оно верно: одного рака смерть красит...

– Но вот же у вас нашлись какие-то человеческие слова...

– Да, уж... Молчал-молчал да и вымолчал... Однако за такой беседой хорошо бы нам выпить. Да где взять? Взять-то где?

С рюкзаком за плечами пробежал Валера.

– Молодость рыщет... – сказал сторож. – Пора и мне, наверно. Сколько ни говори, еще и на завтра будет, а обнявшись веку не просидеть...

– У них, вероятно, есть... Чтоб вам выпить... – сказал Тоскин.

– Вот и я тоже думаю, – сказал сторож. – В поддаче больше удачи. Пойду-ка я их поищу. Спокойной ночи!

«Умный человек, – подумал Тоскин. – Разве среди этих недоучек встретишь такое понимание. Вот что значит – народная мудрость. Сейчас он откопает Славкину хату, подыщет несколько перлов народной мудрости, одобряющих этот вожатский разгул (да вот, этот, насчет поддачи, он уже заготовил заранее), получит свой стакан водки и молчок, шито-крыто, пойдет дальше. Спать, вероятно, пойдет... Надо и мне. Только бы уснуть. Что-нибудь почитать на ночь такое нудное».

Тоскин вспомнил третий том русского полного собрания сочинений Мао Цзэдуна (кто-то принес ему, подарил, потом кто-то и унес): вот это был текст – серый, как солдатское сукно, как панель, и такой же плоский – двадцать пунктов о соблюдении дисциплины командирами 6-й роты... Нет, не годится: сейчас, когда покойный Папа Мао стал кумиром вольнолюбивых западных интеллигентов, чтение это могло бы не усыпить, а растревожить...

* * *

Поутру Тоскин проснулся под звуки горна и ощутил беспокойство. Чтобы снять его, он настойчиво перебирал события прошедшего дня и обрывки сновидений, ища источник мерзкого ощущения и тревоги. Может быть, вчерашний Геморрой взбудоражил давнишние армейские впечатления. Нет, нет, а что же еще? И вдруг Тоскин явственно, почти наяву услышал голос Валентины Кузьминичны, отчитывавшей самоотверженную Сережину толстушку.

«Надо их навестить, – подумал Тоскин. – После завтрака навещу. Как бы они там не наделали глупостей...»

После завтрака Тоскин пошел к маленьким и нашел там мир и благоденствие. Кузьминична сидела на террасе и сочиняла отчет о проделанной работе, контролируя детскую жизнь через открытое окно. Детям она дала книжку из жизни перуанских мальчиков, угнетаемых американскими монополиями, и мальки читали ее по очереди. Нельзя сказать, чтоб занятие

это их очень веселило: читали они не все быстро и не все складно, так что следить за судьбой маленьких рабов империализма было довольно трудно. И главное – нудно.

Тоскин с ужасом слушал суконную прозу, но вскоре заметил (испытыв при этом облегчение), что мальки и не слушают. Более того, они разговаривают вполголоса о чем-то своем. Тоскин занимал выгодную позицию: его макушка не возвышалась над дощатым барьером веранды и Валентина Кузьминична его не видела; с другой стороны, угол веранды скрывал его и от детей, однако он был от них совсем близко и мог слышать, о чем они там бормочут. Он прислушался и узнал Сережин голос:

– Мысль – это не вещь, потому что ее нельзя взять в руки.

– Да? Не вещь? А тогда чем же человек думает? (Тоскину не видно было, кто был маленький материалист, но он терпеливо ждал Сережиного ответа.)

– Я не знаю очень точно. Наверно, человек думает кровью. Потому что я знаю: если человеку вскрыть вены, то человек теряет сознание. А сознание – это ум.

– Значит, когда ты не жил, ты не думал, правильно?

– Я всегда жил, – серьезно сказал Сережа. – Может, конечно, я был каким-нибудь зверьком. Например, я был кролик. Но я жил.

– А сознания у тебя не было. И ты не думал, вот. А кровь ведь у кролика есть.

– Почему же ты думаешь, что у кролика нет сознания? – возмущенно вскрикнул Сережа.

Уродливые локаторы Кузьминичны, торчащие из-под перманента, уловили этот всплеск человеческой речи.

– Разговоры! Разговоры! – сказала она. – Буду наказывать.

Тоскин решил, что самое ему время вылезти из укрытия.

– Они читают... Ах, как трогательно! – Он старался быть милым и обаятельным.

– А как же, у меня читают, я как-никак литератор... – горделиво сказала Кузьминична. – Что вас к нам привело? Какая звезда?

– Я хотел рассказать им что-нибудь, почитать... – сказал Тоскин, но тут же поправился: – Надо мероприятие. Литчас.

– Это прекрасно, – сказала Кузьминична и любовно, как художник, рассматривающий холст, поискала глазами графу, в которую удобнее вставить мероприятие. – Вы можете начинать. Я сейчас объявлю.

Не сходя со своего места, она зычно объявила, что сейчас будет проведен литчас, посвященный советской литературе.

– Ребята, все вы знаете... – сказала Кузьминична, и голос ее неосмысленно завибрировал.

«Вот так она вибрирует на уроках, – подумал Тоскин. – Часами...»

– Все вы знаете, что советская литература самая большая и самая передовая в мире. Например, Горький, Маяковский, Фадеев, Вадим Кожевников, Алексей Сурков. Только в нашей стране, как известно, существует великая детская литература. Каких вы знаете знаменитых детских писателей? А ну, вспомним! А ну, побыстрей, побыстрей! Вспомните свой список обязательного чтения...

– Баруздин.

– Правильно! Еще.

– Воскресенская.

– Молодцы. «Рассказы о Ленине», чьи еще рассказы о Ленине?

– Прилежаева.

– Еще?

– Юрий Яковлев.

– Еще.

– Феликс Лев.

– Ну, это уж я и сама... Достаточно, – сказала Кузьминична. – А теперь Константин Матвеевич вам расскажет...

Тоскин поскуцнел и стал тасовать в памяти картотеку.

– Писатели – лауреаты Государственной премии, – сказал он, – Алексин, Носов, Дубов, Михалков, Барто. Чехов. Нет, не Чехов. Что же я хотел о Чехове?

– Каштанка, – сказал маленький Сережа.

– Спасибо, да, вспомнил. Чехов написал: «Так называемой детской литературы не люблю и не признаю. Детям надо давать только то, что годится и для взрослых. Андерсен, Фрегат Паллада, Гоголь...»

– Правильно. И он ошибался, – сказала Валентина Кузьминична, не отрывая глаз от своих графиков.

– Кто? Ах, Чехов. Да, он ошибался. Впрочем, Бернард Шоу считал так же...

«Черт, что я тут делаю, – думал Тоскин в отчаянье, – бедные мои мальки, до чего же я бездарен. Явился...» И вдруг его осенило.

– А теперь, – сказал Тоскин, – я расскажу вам сказку, написанную лауреатом Государственной премии писателем Берды Кербабеевым. К сожалению, она не напечатана в переводе на русский язык, и я не очень хорошо ее помню, но попробую ее рассказать своими словами...

И Тоскин завел длинную сказочную импровизацию на восточные темы. При этом он бессовестно крал сюжеты у Перро и братьев Гримм, переиначивая их на восточный лад. Это был беспроегрышный номер. Тоскин даже не мог припомнить, какой из цветущих братских литератур принадлежал этот Кербабеев. Однако он существовал и был лауреатом, за это Тоскин был готов поручиться (можно себе представить, что он там насочинял, этот Берды).

Мальки слушали сказку с таким сосредоточенным вниманием, что Тоскину порой становилось стыдно и он сбивался. Когда он заврался окончательно и сказка его зашла в тупик, он выволок на сцену птицу Рух (она же птица Симург), которая оживила героев, с тем чтобы Тоскин смог продолжить рассказ...

Кузьминична давно уже перестала слушать, и, только когда Тоскин умолк окончательно, она тряхнула головой, как лошадь, отгоняющая слепня, и подытожила:

– Ребята! Константин Матвеевич познакомил нас с творчеством еще одного замечательного братского национального писателя. Вы должны знать, что только у советской литературы существует братская национальная литература, которая при царизме даже не имела своей письменности. Поэтому советская литература самая богатая и самая непобедимая в мире. Теперь, ребята, все вместе поблагодарим Константина Матвеевича...

Возвращаясь к себе, Тоскин решил заглянуть к старшим. В палате девочек было пусто – никого, даже дежурного. Тоскин осторожно, на цыпочках бродил среди коек, на которых были аккуратно разложены пионерские галстуки. Тоскину смутно припомнилась «пионерская символика» его детства – каждый конец галстука должен был что-то символизировать – то ли союз рабочих и крестьян, то ли единство партии и народа. На переменах они хватили друг друга за галстук (между собой его называли «селедка»), требуя: «Ответь за галстук!» Отвечать надо было формулой: «Не трожь рабочую кровь, оставь ее в покое». Был еще апокрифический вариант ответа: «Не трожь рабочий класс, а то получишь в глаз». Интересно, что они говорят теперь?

Тоскин взял в руки один из галстуков и вдруг увидел, что он весь исписан чернильным карандашом: «Закрепи в своей памяти это первой любви пионерское лето». И неразборчивая подпись. Ну и наглость – пишут на галстуках! А вот еще надпись: «Милой подружке от подружки первой смены Люси». И еще знакомый стишок – «Люби меня, как я тебя...».

Тоскин сложил галстук и аккуратно положил на место. Да, это уже что-то новое. Раньше они ни за что не решились бы писать прямо на галстуке. Может, просто дети были бедней, а галстуки дороже. Нет, все-таки главное – отсутствие страха, пренебрежение... Но стихи-то,

стихи. Восемь-девять классов школы точно прошли для детей безнаказанно. По-прежнему в ходу кич, бессмертные творения безымянных авторов. Что мы, собственно, можем возразить против кича: это тот же Ошанин или Асадов. Тот же Шаферан или Долматовский... С замиранием сердца Тоскин развернул Танин галстук. Чисто! Умница, лапочка, аккуратистка... Тоскин не удержался, приподнял подушку... – О, Боже! Там была кукла. Самая настоящая, немецкая голубоглазая идиотка... Значит, она еще играет в куклы. Или это просто сувенир? Надо спросить у Веры...

На крыльце загремели шаги. Тоскин выпрямился, пошел к двери. Вбежала пионерка. Начала рапортовать, еще не отдышавшись:

– Товарищ воспитатель! За время моего дежурства...

– Вольно, – сказал Тоскин. – Я, собственно, так... Зашел взглянуть, все ли у вас в порядке...

– А мы с девочками...

– Продолжайте, – сказал Тоскин, боком выбираясь из палаты. – Продолжайте. Не буду вам мешать.

* * *

Тоскин из-за угла наблюдал, как Верин отряд строем идет на ужин. Он еще издали увидел, как сгибаются при ходьбе длинные Верины ноги, как плещут и бьются о бедра ее волосы, как странной, тревожащей его волной прогибается все ее тело. Когда отряд поравнялся с ним, он стал искать взглядом Танечку, нашел ее чуть порозовевшую от солнца милую мордашку, увидел новые веснушки, проступившие на вздернутом, припухлом носике...

При этом он увлекся, забыл о бдительности и, выйдя из своего укрытия, попал на глаза начальству.

– Констатин Матвеич, – сказал начальник лагеря. – Зайдемте ко мне на минутку.

«Вот так, – думал Тоскин. – Стоит только ослабить пролетарскую бдительность... Хорошо теперь, если отделаюсь каким-нибудь простым заданием».

Тоскин заметил, что начальник ведет его не в лагерную канцелярию, а в свой коттедж, домой: значит, он придает разговору особенно важное значение. А может, все-таки обойдется. Может, наоборот, это знак расположения. А может, ему просто удобнее сюда после обеда и не хочется идти в кабинет, где его могут побеспокоить...

Войдя к себе, начальник позволил себе расслабиться и стал вдруг добродушным пожилым пенсионером.

«В сущности, он ведь не намного старше меня», – подумал Тоскин.

– Как насчет того, чтобы по маленькой? – Начальник достал бутылку какой-то прозрачной жидкости. – Любопытнейшая вещь. Местное. Это меня вчера здесь угостили. И я из чистого, так сказать, любопытства... Не хотите? Ну я тогда сам, с вашего позволения.

Тоскин украдкой разглядывал жилище командарма. Постель была аккуратно застелена, все вещи стояли на местах. «Вот что значит военная выучка, – подумал Тоскин. – Впрочем, может быть, повариха наводит порядок. Или уборщица».

– Я вот, собственно, о чем... – сказал начальник. – Приближается закрытие первой смены. Надо бы сделать композицию. С учетом, так сказать, нашей специфики. Я думаю, вы как человек литературный, вы много читаете, так что вы сможете написать, я даже не сомневаюсь. Хорошо бы, конечно, стихи... Так уж принято. Вот у нас в части был начклуба!..

«Для него чтение и писание – процессы равнозначные, – подумал Тоскин. – А может, он вообще никогда над этим не задумывался, это естественно...»

– У Веры Васильевны есть разработка закрытия, – сказал Тоскин солидно. – Но мы, конечно, сможем ее дополнить. Учесть специфику нашего лагеря и так далее. Даже есть стихи...

– Вот и прекрасно, – сказал начальник и налил себе еще стаканчик. – Напрасно вы все же не попробовали. Это ничего, что самогон. Зато это чистая вещь. Из сахара. А из чего там на заводе делают, этого нам с вами не скажут. Знаете этот анекдот: «И как ее пьют беспартийные?» Да-а... – Начальник потеплел и сказал доверительно: – А я ее все-таки уеб, повариху. Да. Она ничего...

«Что у него там на стене? – думал Тоскин, глядя в полутемный угол у занавески. – Портрет чей-то...»

Услышав паузу, он поспешно сказал:

– Да, это верно. Совершенно правильный шаг.

– Я тоже думаю, я не прогадал. Потому что кто? Кузьминична, она, конечно, лакомый кусочек, зад что надо, но она все ж таки баба партийная и, видно по всему, склочная. А у меня семья. Опять же, образование у нее, свяжись только. Кто еще? Вожатая? Дак она, во-первых, молода. И малахольная она какая-то. А во-вторых, простите меня, ни сиси, ни писи, а тут берешь – маешь вещь...

В комнате стемнело. Начальник протянул руку, щелкнул выключателем, и тогда Тоскин разобрал, что у него в углу на картинке. Там стоял во весь свой карликовый рост отретушированный до ангельской чистоты бывший любимый вождь и генералиссимус. Это был старый послевоенный плакат, над вождем реяло красное знамя с бессмертными словами: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира!» А вокруг вождя был какой-то серый икряной фон. Тоскин пригляделся и увидел, что каждая икринка была человеческой головой, это были массы, те самые, что, подпирая гигантскую фигуру своего кумира, стояли и отстаивали...

«Стоим и отстаиваем, – думал Тоскин. – Истинная поэзия. Поэзия заклинаний! Иначе не убедишь. Сейчас у Кольцевой, возле Химок, написано: «Борьба за мир – дело всех и каждого». В том же стиле, но даже менее грамотно. Так, так... Значит, сердце командарма томится по прошлому. Или просто по идеалу, по святым и кумирам...»

– Она, знаете, оказалась заботливая такая. Всегда закусочку старается повкусней, не поленился, иногда даже на базар съездит... Хорошая женщина...

«А что поделать, – думал Тоскин, смиряя свою тоску. – Все ведь зависит от точки зрения. Откуда смотреть: со склада, из окопа, из тюрьмы... С одной – кровавый мясник. С другой – благородный вождь, учитель, полководец, благодетель, защитник народа. Вождь-утешитель. Вождь-потрошитель. Ну да, конечно, но ведь об этом тоже надо еще знать. А может, он не виноват? Может, он не знал? А может, он был обманут? Может, ему ничего не говорили? У людей есть потребность в идеалах. В кумирах. У тебя есть картинки дома? Нет? Значит, просто не нашел места. Не то бы непременно повесил кого-нибудь. Хемингуэя. Устарело? Эх ты, пижон. Ну, Исаича повесил бы, поновей. И побольше щечочет. А их усатый тоже щечочет – развенчанный император. Обиженный гений. И вот они вешают – по всей России. А уж в Закавказье-то, в Средней Азии – каждый сапожник в своей будке, каждый частник в своей машине: моя машина, мои боги. Каждый шофер в автобусе: хочешь не хочешь – терпи, все-таки вызов, своего рода фронда».

И вот вешают пастухи в горных кишлаках переснятые фотографии, купленные втридорога, вешают продавцы в сельмагах. Вешают даже представители репрессированных, безжалостно раздавленных наций – балкарцы, карачаевцы, чеченцы... Вечная история, старая, как мир. А что, гран Наполеон был меньшая сука? И если юный Лермонтов оплакивает рухнувшего кумира, что ж тогда говорить о грузинском торговце, таджикском пастухе или бедном командарме. Командарм помнит, что с этим именем на устах он одержал все свои интендантские победы в суровые годы войны...

– Но я вам, между прочим, скажу, – вдохновленный мечтательным вниманием Тоскина, начальник склонился к нему через стол, – я вам скажу, жене моей, Зинаиде, скоро пятьдесят шесть, а она не хуже, нет, поверьте моему слову, и тело у нее не хуже...

Тоскину не о чем было больше просить судьбу. Он проник в святая святых, в семейный альков командарма, он был выделен, отмечен и приближен. Он был удостоен и обласкан. Он мог теперь почивать в берлоге. Он благодарил за угощение. Он прощался.

– Ты заходи, Кстатин Матвеич, – звал его добрый командарм, – ты мужик простой. Как всякий настоящий ученый. Вот у нас замполит был – две академии кончил, а тоже простой...

Тоскин гордо шел назад, увенчанный академическими лаврами, однако, увидев издали Славу, он вспомнил армейскую мудрость о том, что большой начальник еще не может гарантировать тебе полной безопасности, так что он обошел краем лагеря и благополучно добрался до своего логова, где укрылся под сенью Дзержинского и Достоевского. Он мог отдаться любимому делу. И любимому безделью. Больше отдаться было нечему. Честно говоря, безвыходность ситуации несколько томила его. Томил наступивший вечер. Томила утрата дня, бесперспективность ночи... В этот момент он услышал голос Веры Чуркиной:

– Ребята! Вы что, отбой не слышали? Вас что, не касается?

И лексика, и синтаксис ее речи противоречили безвольной мягкости ее голоса, ее тону, ее вялому безразличию. Где же ей было справиться с этими дьяволятами? Тоскин встал, натянул брюки.

«Обрати внимание, – говорил он себе при этом. – Никто сейчас не мешает твоей литературной работе, никто не отвлекает тебя...»

«Неправда, – сказал внутренний голос Тоскина, – дьявол отвлекает меня. И ясно, к чему он клонит. А если ему не подчиниться, он к ночи еще не такое учинит».

«А что он может учинить? – подумал Тоскин, наспех застегиваясь. – В конце концов, мастурбация не такое уж большое зло с точки зрения социальной, да и моральной тоже, куда меньшее, чем все прочее... Кстати, забавно, что этот внутренний голос вовсе не является голосом моей совести – скорее даже наоборот...»

– Мальчики! – сказал Тоскин, выходя на крыльцо и придавая своему голосу максимальную грубость. – А ну, быстренько в палату. Не заставляйте Веру Васильевну повторять два раза.

– Двадцать два, – начал черненький бесенок, но сник под взглядом Тоскина и повернул к палате. Остальные побрели за ним, перешептываясь.

– Что вы делаете, когда они уснут? – спросил Тоскин у Веры.

– Они уснут? – удивилась девушка. – Да я раньше ихнего засыпаю. Они всегда ждут, девчонки, пока я усну.

– А потом?

– Не знаю. Потом убегают, наверно...

– Вот и вы убегите, – сказал Тоскин, стесняясь своей неуклюжести.

– Сюда? – спросила Вера покорно.

– Хоть бы и сюда.

– Хорошо, – сказала она. И пошла к своему отряду.

Тоскин с волнением смотрел на ее спину (Боже, как прогибается ее спина, вот-вот переломится), понимая, что теперь, до самого ее прихода, он места себе не найдет. Ну, а потом, что будет потом, после ее прихода, зачем это все, и надолго ли это его займет – через сколько часов это станет ему скучно?.. Он с удивлением обнаружил, что его чувство к Танечке, да что там, можно уже сказать, его любовь к Танечке была гораздо более перспективной: именно вследствие своей бесперспективности, своей безнадежности, своей неисчерпаемости... Боже правый, что за странные наступали для него времена, что за странные штуки выкидывал с ним возраст...

Она пришла через час, Тоскин взял ее за руку и повел в сторону леса, как будто там, в лесу, была меньшая опасность, чем здесь, в его берлоге. Впрочем, опасность чего или для кого? На эти вопросы он не смог бы ответить, но, касаясь на ходу ее тела, понимал все яснее, что то, чего он ждал и чего отчасти опасался, неизбежно и это неизбежное случится, должно быть, даже сегодня. Она еще бормотала что-то на ходу – про своих пионеров, что они там притаились и, конечно, не спят, беда с ними, за что ей это наказание, и он, вероятно, утешал ее, а может, и молчал, потом ему трудно было вспомнить, что он делал тогда, во всяком случае, у них было ощущение сообщничества и близости, взаимного сочувствия и взаимной симпатии: это было не просто физическое влечение, нет, это было совместное одиночество, неизбежный выбор и соединение, единственно возможное в этой многолюдной пустыне...

Как он и ожидал, она была покорной, прижималась к нему со стоном, когда он обнимал ее, потянулась за ним, когда он потянул ее за собой – куда-то вниз, на мхи и кустарники, вскрикнула, оцарапавшись, и позднее еще раз, когда они лежали вместе, а потом успокоилась, прижалась к нему и, хотя не ощутила очень уж многого, все же была послушной и в меру нежной, тоже как он ожидал...

Они шли обратно. Его страх проходил, он чувствовал, что их близость не отдалила его от нее, что Вера не наскучила ему и, возможно, не скоро наскучит. Может, потому, что она молчала, была отзывчивой и покорной, не отягчала его слух и совесть, не теребила его, не бормотала лишнего (Боже, что за требования были у него теперь к женщине, что за странные, извращенные требования, удивлявшие даже его самого!).

А потом, уже возле корпуса, она сказала:

– Спокойной ночи! Побегу погляжу, как там мои пионеры.

И убежала – ушла совсем, исчезла, скрылась из виду, не оставив ничего в мыслях и воспоминании, только легкость, освобожденность, свободу, блаженную пустоту. В эту пустоту хлынули усталость, сонные мысли о Танечке, ее коротком, чуть вздернутом припухлом носике, уже опаленном солнцем, о ее мягкой, тающей, припухлой фигурке, теплой, чуть влажной ладонке и даже ее идиотке-кукле. То, что произошло у него сегодня, не отдалило его от Танечки, а, напротив, скорее даже приблизило к ней, и, засыпая, он думал о том, что должен быть за это благодарен Вере.

А наутро он проснулся под бодрые крики возле умывалки, долго вспоминал, что с ним случилось – или, может, приснилось – плохого, но не припомнил ничего, а все же была какая-то тягость, может, оттого, что ныло сердце, тянуло левую руку, а может, оттого, что он снова на сколько-то золотников греха отягчил свою совесть или что там еще в человеке (что-то очень материальное, очень реальное), что принимает на себя всю тяжесть, накапливаемую в пути. И тогда он стал вспоминать Веру. И стал гнать от себя тяжелые мысли – ведь им было хорошо вчера, и она так мила, так ненавязчива, да и человек она в общем-то неплохой. Тоскин оделся в тесноте своей берлоги, скатал и закинул под стол матрац, вышел на крыльцо, увидел дальнюю зелень оврага на краю картофельного поля, где он рассказывал о Сервантесе своему взводу, – и ему стало хорошо. Потом он привычно опустил взгляд на ширинку, как всегда, конечно, не застегнутую, и увидел пятно. Темное пятно. Скорей всего, кровь. Что-нибудь случилось с ним? Нет, ничего. Кажется, ничего. Значит, она... Он вспомнил, как она вскрикнула вчера, – черт, почему же она ничего не сказала, ни до ни после, главное – до...

Тоскин вернулся, чтобы переодеться, и сам не заметил, когда это раздражение против нее сменилось жалостью, нежным сожалением, покровительственно-ласковым снисхождением – дурочка бессловесная, кто повел, тот и успел...

Позднее Тоскин остановил Веру, которая задерганная, злая, в наспех натянутой на плечи кофте вела свой отряд на завтрак, и сказал со всей добротой и нежностью, на которую был способен, сперва громко для всех: «Я сегодня приду к вашим ребятам, Вера Васильевна. Вы на речку? Вот вместе и пойдем... – а потом вполголоса для нее: – Вечером вы опять ко мне,

хорошо?» И она кивнула («Боже, да она разве умеет отказывать?»), но кивнула едва заметно, так что он остался стоять, терзаясь неясностью и успокаивая себя тем, что еще будет у него время все выяснить.

Однако сразу уйти на речку вместе с Вериним отрядом Тоскину не удалось. И не только потому, что сегодня он еще должен был отдать пионеру-художнику материал для редко кем читаемой и никому на свете не потребной белиберды, именуемой «стенгазетой» и занимающей почетное место среди прочей как бы добровольной, неоплачиваемой белиберды, которая повсеместно называется «работой», однако с присовокуплением двусмысленного эпитета – «общественной работой» (по давнему наблюдению Тоскина, общественная работа, которая по идее должна была отличаться от всякой другой бессмысленной работы своим воистину бескорыстным характером, все-таки оплачивалась так или иначе, иногда даже весьма высоко: освобождением от непосредственных обязанностей, бесплатными путевками и веселыми семинарами в домах отдыха, даже льготными заграничными поездками). Тоскин с чистой совестью включил выпуск стенгазеты в обширный план своего трудового марафета.

Впрочем, не только эта малообязательная возня со стенгазетой задержала сегодня Тоскина: неожиданно появилась повариха, а с ней Сережа и его девочка. Тоскин понял все и поспешно увел их из пионерской комнаты к себе – под сень Дзержинского.

– Что? Стоит на своем? – спросил он повариху дорогой.

– Что же я с ним поделаю? Он у меня один...

Тоскин сочувственно похлопал по плечу Сережу, сказал:

– Разве это главное – расписаться? Главное, чтоб вы двое это знали, чтоб дали слово друг другу и сдержали его. Это важнее.

– Мы хотим расписаться в книге, – сказал Сережа, – у вас есть книга?

«Ну что ж, – подумал Тоскин, – в жизни почти каждого мужчины бывает этот необъяснимый момент, когда ему хочется расписаться. И редкий мужчина сможет вразумительно объяснить, на кой черт ему это нужно, именно это... Чего ж требовать от мужчины малолетнего?»

– Чего доброго, – сказал Тоскин, – а книга-то найдется.

По приезду в лагерь ему выдали несколько огромных Книг учета и Книг регистрации. Вероятно, это был щедрый подарок шефов. В Книгу регистрации клерки шефствующего предприятия, вероятно, вписывали какие-нибудь виды полувоенной продукции – Бог его знает, что они там вписывали, эти клерки. А может, книги эти давно устарели (была инструкция перейти с формы 535 на форму 813) и томились на складе. Тоскин вписал в эту книгу под номером один Сережу и Наташу, потом дал им расписаться.

– В чем теперь ваш долг, вы знаете? – спросил Тоскин.

– Заступаться друг за друга, – сказал Сережа.

Наташа покраснела, потом подняла голову, сказала:

– Любить только друг друга. И ни с кем другим не играть. А можно с другими играть?

– Наверное, можно, – сказал Тоскин. – Но Сережа прав: всегда заступаться друг за друга.

Повариха всплакнула.

– Обойдется, – сказал ей Тоскин сочувственно. – Они очень милые.

– Да-а-а, обойдется, а если эта сука пронюхает, кобыла проклятая...

– Может, еще не узнает, – сказал Тоскин. – Бог не выдаст, свинья не съест.

Она убежала, сунув ему в руку пакет с пирожками.

«Вот и гонорар, – подумал Тоскин. – А я ведь еще успею на речку...»

Как всегда, выйдя на бугор, за ограду лагеря, Тоскин поначалу долго озирался, кружил на месте и размахивал руками, как птица. Потом предался сожалениям о потерянном времени. Все время, которое он провел не здесь, не на этом бугре и не в этом лесу, не озираясь, не нюхая, не кружа на месте, не умиляясь, – все это время было для него потерянным, а осталось так мало, ах, как мало оставалось ему времени здесь, на земле среди этой вот красоты...

Купание уже было закончено, и пионеры бродили по берегу. Первыми Тоскин встретил Танечку и ее подругу Тамару. Они шептались в одиночестве, за кустами, и Танечка взглянула на Тоскина опасливо, недоверчиво, а Тамара, напротив, с вызовом, и Тоскин подумал, что скоро уже, скоро эта девочка начнет бодаться, как повариха. Не меньше как четвертый размер... Танечка выглядела усталой, под глазами у нее были круги, и у Тоскина сердце защемило от жалости.

– А ну, честно, есть хочется? – спросил Тоскин. И протянул девочкам по два пирожка. Они взяли, как будто бы неохотно, но тут же начали есть.

Тоскин понял, что говорить с ними с двумя он не сможет, что молчание становится тягостным, а им так хорошо было секретничать без него. И он пошел дальше, унося с собою печаль.

Чуть повыше, над берегом, на бугре сидела Вера, наблюдая сверху за своими пионери-ками. Тоскин подошел, угостил ее пирожками, присел рядом. Он внимательно посмотрел на нее сбоку – она была такая сонная, незащитная, так потерянно оглядывала берег. Тоскину показалось, что любой из пионеров может подойти и обидеть ее. Он сказал:

– У вас что, никого не было до меня?

– Нет.

– Первый раз?

Она кивнула, не глядя на него.

– Почему же вы мне не сказали?

– Я думала, вы знаете...

– Нет, я не знал. Если бы знал... – Он осекся. Не нужно говорить этого. Ничего не надо говорить. Надо пожалеть, приласкать. Но она, кажется, не хотела, чтоб ее жалели. Может, ей все это было безразлично. Тоскин подумал вдруг, что народилось целое поколение таких вот полусонных, слабых, бледнолицых, безразличных к себе и другим.

– Вы огорчены?

Она пожала плечами. Кажется, нет, не очень. Точнее, она не знает еще, должна ли она огорчаться. И она не получила никакой радости. Это очевидно.

– Вы такая милая... – сказал Тоскин. – Все будет прекрасно.

– Эти вот оглоеды, – сказала Вера, – не знаю, что делать... Сегодня утром вышла и гляжу...

– Вербасильна! – крикнул черненький чертенок. – Обед скоро? Есть охота.

– Надо идти, – сказала Вера.

– Так вы не забудьте. Я жду вас, – сказал Тоскин.

Она ответила:

– Угу.

Отряд потянулся к лагерю. Тоскин, оставшись один, предался праздным размышлениям. Он думал о том, может ли быть что-нибудь существеннее и прекраснее летнего среднерусского пейзажа: березы над рекой, пронзительная зелень июня, скромные цветы, безмятежная чистота этой мелкой речушки, кладбище за бугром, без гранитных излишеств, зато с большими ивами и березами... И коровья истомы. И пяток бревенчатых избушек невдалеке от моста. И птичий щебет. И след длинных Вериных ног на примятой траве. И детский смех вдали. И тишина. Прекрасней ли этого, скажем, самая прекрасная граница? Это был праздный вопрос, ибо Тоскин никогда не был за границей, и все неведомые границы представлялись ему прекрасным путешествием, а ничто не заменит путешествий. И все же оно всего лишь экскурсия. А эта вот речная красота – твой насущный хлеб. И она, должно быть, точь такая же во Франции и такая в Германии – только бы иметь ее досыта. Ее, да еще свободу передвижения. Не захотел здесь – уехал за реку. Без свободы все сразу может опостылеть, ибо трудно будет отвлекаться от одной-единственной язвы – несвободы. Тоскин вспомнил свою собствен-

ную армейскую службу в виноградной долине, у подножья двуглавой снежной горы. Пушкинскую ссылку в живописном Михайловском...

«Обедать не пойдем», – решил Тоскин. Он сжевал последний пирожок и повернулся на спину.

Облака плыли над головой. Непостоянные и вольные. Пересекали границы районов, областей и даже стран. Никто их даже не обыскивал на границе как следует, и это было, конечно, упущением властей. С обеих сторон.

Во время ужина Тоскин попытался осуществить очередную радиодиверсию. Радио в лагере чинили с большой оперативностью, и днем его разнужданные крики долетали даже на речку. Начальник, установивший в своем скромном алькове радиолу и слушавший по ночам то пекинские, то парижские передачи (нет нужды уточнять, что по-русски), конфиденциально сообщил Тоскину, что где-то на Корсике какие-то там националисты или террористы взорвали телецентр, и Тоскин (как русский интеллигент семидесятых годов не одобрявший ни террористов, ни националистов) подумал, что все-таки его здравая идея овладевает массами. Однако на Корсике или где там жили буржуазные раззявы, а в краю поголовной бдительности диверсанту приходилось куда труднее. И сегодня, всякий раз, как Тоскин с ножом подступал к проводу, кто-нибудь возникал – из кустов, из сортира, из столовой, из сушилки... Наконец в самый ответственный и самый отчаянный момент перед Тоскиным вдруг (неизвестно откуда) возник сторож со своей берданкой и сказал невинно:

– Покурить не найдется, Матвеич?

Тоскин извинился и подумал, что какой он, должно быть, никчемушный человек, с точки зрения сторожа: ни закурить у него, ни выпить, и еще покушается на провода – у Тоскина не было сомнения, что сторож об этом знает. Тоскин наблюдал, как сторож вытащил грязный кисет и стал набивать трубку, приговаривая:

– «Вынул дедушка свое ремесло, засадил туда, где шерстью заросло». Это ты думаешь что, Матвеич? Не. Не то думаешь. Это, милок, трубка. А во еще: «Повыше коленок, пониже пупа. Куда суют. Как зовут?». А, как зовут, Матвеич? – Тоскин пожал плечами. – Карман. А вот еще... – Сторож хитровато прищурился, внимательно наблюдая за Тоскиным. – «Стоит девка на юру, рашешила дыру, кто мимо идет, тот и ткнет». А? Думай, думай, Матвеич. Ладно. Ты уж невесть что и подумал, а это колодец. Ну, еще тебя испытаем, про что ты думаешь. «Черный кот матрешку трет. На матрешку вскочит, еще захочет». Ну-ка, ну-ка. Ладно, это я тебе подскажу, потому что это из женского обихода: сковорода это с метелочкой, а вот еще оттуда же, теперь тебе полегше будет... Только ты все не туда думаешь, а? Вот. «Брюхом трет, ногами упрет, расщеперится, втолкнет...» Вот это сам думай, это не подскажу...

И сторож ушел, а Тоскин остался в размышлении. И мучил его вовсе не загадочный предмет, который трет брюхом, а совсем другое: что имел в виду сторож, изливая на него этот поток народных двусмысленностей, что он знал, этот человек, шаставший ночью, как тень, что он мог знать, на что намекал...

Вера пришла к нему сразу после отбоя, и случилось то, чего он вовсе не ожидал: ей было хорошо с ним – это бесконечно разогревало его, и оба они нашли забытие в занятии, которое теперь являлось для Тоскина чаще поводом для беспокойства и докуки, чем для истинного удовольствия. Опустошенные, измученные и сближенные этой неожиданной радостью, они лежали, раскрывшись, в берлоге у Тоскина, изредка переговариваясь, – и он выяснил то небольшое, чего по лености не узнал о ней раньше: что ей был двадцать один и что через год она станет училкой. Что ее вовсе не расстроило то, что вчера с ней случилось, потому что раньше или позже это должно было случиться, а подруги ее уже все успели давно. И что он, Тоскин, ей понравился с первого дня, потому что он такой умный и при этом не пьет. И что в лагере ей приходится очень трудно, потому что пионерики не слушаются, а начальник все время говорит, что придется за них отвечать. В этом месте разговора Тоскин уже начал погружаться в сладостный,

волной наплывающий на него сон изнеможения, и он пробормотал, уже сквозь сон, что непременно за нее заступится, что он ее в обиду не даст, потому что начальник – мужик, в сущности, неплохой, так что он... Тоскин не слышал, как она оделась и ушла, и был очень благодарен ей за все, и за это сострадание к его слабости тоже.

Днем Тоскин с разрешения Валентины Кузьминичны провел у маленьких занятие по зарубежной литературе. Кузьминична предупредила его, что это не входит в школьную программу, однако на всякий случай с аккуратностью занесла его тему в свой журнал мероприятий. Опасаясь противодействия, Тоскин сказал ей, что будет рассказывать о прогрессивных писателях Запада, начиная с Томаса Мэллори.

– Ну, тогда конечно! – воскликнула она с таким энтузиазмом и почтительным придыханием, как будто этот Мэллори был побочный сын Анны Зегерс и Джеймса Олдриджа. Более того, она разрешила Тоскину увести детей за ограду, на опушку леса, и здесь, усадив их вокруг себя под сосной, Тоскин завел длинную историю о рыцарях Круглого стола, о подвигах Ланселота, о любви Тристана с Изольдой, о благородных, абсурдных клятвах и джентльменской верности этим клятвам, о преклонении перед женщиной, которое нисколько не принижает настоящего рыцаря, а принижает, мол, только хама. Тоскин видел расширенные глазенки своих слушателей, видел, как они страдают вместе с Тристаном, как сочувствуют Ланселоту... Рассказывая, Тоскин думал о том, как не похож маленький Сережа на свою в общем-то не плохую, но такую вульгарную маму и что остальные его слушатели, видимо, еще разительнее отличаются от своих пап и мам.

«Вот такими выходим мы из рук Творца, – думал ненаучный атеист Тоскин. – А потом, отбыв свой срок в школе и пионерлагерях, на стройке и в конторе, выварившись в котле брака, превращаемся... Боже, во что мы превращаемся, и как скоро, о Боже, очень скоро – даже гладкий атлет Слава, даже подвижный Валера, впрочем, эти только физически, Боже, что за было...»

Окончательно погиб Тристан, и Тоскин увидел слезы на глазах плотненькой Сережиной подружки. Сережа придвинулся к ней ближе, потому что кругом были опасности и для защиты ей мог пригодиться его меч.

Дети были такие разные, носатые и курносые, рыженькие и белесые, черные и бесцветные. Попадались, впрочем, туповатые лица, но они тоже сейчас были согреты человеческим интересом и состраданием. Если бы Тоскин знал сейчас дорогу ко двору Артура или в какой-нибудь зачарованный уголок леса, стоило бы рискнуть: встать и увести их за собою, лесной тропкой, сразу, не заходя в лагерь, не целуя прощально Кузьминичну, не давая весточки Славе... Но он не знал этого пути, его не знали ни цари, ни воспитатели царских детей, не знали Лагарп и Жуковский, не знали ни принцы, ни эти нищие – педагоги. Умный лорд писал из Лондона воспитывающие письма своему амстердамскому бастарду – а бастард шел своей дорогой: письма были нужны самому лорду игодились читателю еще через две сотни лет. Не заплутавшему Тоскину дано было найти этот путь!..

Тоскин встал и повел свою растроганную, растревоженную паству под крылышко Валентины Кузьминичны, женщины с могучим крупом, прочитавшей всего Вадимкожевникова. Сам же Тоскин, растревоженный не меньше своей паствы, укрылся в надежной тени Достоевского и Дзержинского...

А вечером к нему пришла Вера, и опасения его не оправдались – потому что было не скучно, им было опять хорошо, даже еще лучше, и причина этого неубывающего восторга растрогала Тоскина. Причина была в том, что Вере было хорошо, все лучше и лучше. Такая меланхоличная, сонная, она оказалась чувствительной к каждому его прикосновению, по многу раз умирала и снова оживала в его руках, и это наполняло Тоскина гордостью, уверенностью в себе, придавало ему силы. «Значит, даже такая вот связь, – думал он, глядя на ее изможденное, побледневшее личико, на темные круги под глазами, – даже она не является совершенно

эгоистической и только тогда дает радость, когда наслаждение получает партнер. А раз я так озабочен ее чувствами, то это недалеко от любви...» Тоскину вспомнилась песенка, которую он часто пел когда-то, – о простолюдине, влюбленном в циркачку: «И соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить». Он, Тоскин, приближается уже к возрасту, когда важнее становится «угодить». Говоря откровенно, угодить теперь даже важнее, чем получить это элементарное удовольствие, которого он искал когда-то, «занимаясь любовью» (нет, все-таки русское «заниматься любовью» не полностью соответствует такому конкретному и точному английскому «мейк лав» или французскому «фэр амур» – русское звучит отчего-то и бюрократичней и возвышенней). А может быть, ему предстояла теперь в жизни длинная череда влюбленностей со всеми их трудами угождения, трагедиями неугождения и неугодности... Во всяком случае, он смотрел на лежащую в забытии Веру с покровительственной нежностью, ждал ее пробуждения, чтобы обрушить на нее эту нежность, оснащенную хоть и скудным, но все же опытом свободной мужской жизни...

Ее волнующая гибкость не обманывала – она была податливой, нежной, пугающе чувствительной, она была прекрасной возлюбленной, редкостной партнершей, и Тоскин не переставал удивляться, отчего ему, искавшему этого всю жизнь с таким любопытством и энтузиазмом (слово «страсть» было бы здесь, пожалуй, излишне сильным и возвышенным), только под занавес впервые попалась столь совершенная женщина (точнее сказать, попалась девочка, ибо это на его долю выпала сомнительная честь перевести ее в ранг женщины)...

Когда силы их наконец иссякли, они долго лежали в истоме бок о бок, и это был один из редких случаев в жизни Тоскина, когда ему не хотелось отодвинуться, отвернуться, остаться одному. Вера заговорила наконец: Боже, как она была немногословна.

– С оглоедами неприятности, – сказала Вера, и наступила долгая пауза.

– Да, да... – поторопил Тоскин. – «Сегодня утром встала и гляжу...»

– Гляжу – лифчика нет, – сказала Вера трагично. – А они смеются.

– Да уж, юморок, – сказал Тоскин. – И где же он был?

– На мачте. Развевается...

Тоскин хотел издать сочувственный звук, но хрюкнул от смеха. Теперь уже все было потеряно, и он насмеялся досыта, часто ли бывает случай. Потом счел все-таки нужным объяснить:

– Понимаете, это смешно. Если б это был лагерь имени Тани Пчелкиной... А так, Руслан – и лифчик на мачте. Разлад. Как говорят критики: разлад мечты и действительности.

– Вам хорошо смеяться, – сказала Вера бесцветно. – А меня вон начальник вызвал и говорит: «Если в твою смену забеременеет, ты будешь отвечать».

– Кто забеременеет? – спросил Тоскин беспечно.

– Да пионерка какая-нибудь...

Тоскин поднялся на локте, посмотрел на Веру в свете уличного фонаря, падавшего на ее бледное лицо через разноцветного Достоевского.

– А что, разве они... уже...

– Ого! – сказала Вера. – Да они только и ждут, чтобы я уснула. Они поэтому меня любят, что я засыпаю. А ночью попить встанешь – одной нет, второй нет...

– Куда же они?..

– Кто куда. Ну, эти, которые в баню к вожатым, эти ладно. Вожатые сами пусть отвечают. А теперь еще деревенские стали ходить. Так одна у меня такая наглая... Это из-за нее начальник и вызвал. Сказал, если она в мою смену забеременеет, уж тогда меня точно... Велел идти искать. Чтобы выгонять из лагеря. А что я могу? Я ничего не могу сделать...

Она говорила очень жалобно, почти плакала, но Тоскина больше не трогали ее невзгоды. Рушился огромный мир, и неприятности Веры, начальника, парторга Кузьминичны и кого там еще – все это была только пыль на месте гигантской катастрофы.

Она замолчала, ожидая от него совета, может быть, помощи.

– Что собираешься предпринять? – выжал он из себя.

– Пойду сегодня искать. Только что я им скажу, если найду. Потом... я боюсь.

– Хорошо. – сказал Тоскин и начал одеваться. – Я тебя провожу.

У него было сильное искушение – собрать вещи и бежать прочь из лагеря. Сейчас же. Ночью. Чтобы не знать ничего. Он преодолел искушение и шел теперь навстречу своему ужасу, своей боли, крушению всего...

Когда они вышли, ночь была черная, звездная.

– Куда идти? К бане?

– Нет, туда нечего, – сказала Вера. – Там вожатые. Они пусть сами разбираются. А деревенские туда не ходят. Вот, может, сюда, к оврагу... Не очень-то хочется. А надо. Вдруг она в мою смену забере...

– Действительно, – сказал Тоскин. – Вдруг в твою смену. Идем к оврагу.

И он двинулся к еще более черному, чем сама ночь, оврагу. Вера держалась за него, и Тоскин чувствовал, что она дрожит.

Возле оврага они остановились, прислушались. Ни звука. Бдительный Тоскин поднял палец, и они постояли еще немного в неподвижности. Вспорхнула птица. И снова тишина.

– Еще надо у забора посмотреть... – шепнула Вера. – Идем. Если там нет, черт с ней...

– А если понесет?

– Куда?

– Не куда, а кто.

– А-а-а... – Вера безнадежно взмахнула тонкой рукой. – Какая разница. Может, уже понесла.

Пробираясь к дальнему забору, они осторожно ступали по влажной траве.

– Тише! – сказал Тоскин.

Они остановились.

– Да, что-то есть... – шепнула Вера, вцепившись в него. – Я слышу...

Тоскин таращился в темноту. И вдруг... Сперва он видел на земле что-то черное. Потом что-то белое. Потом увидел гораздо больше. А может, просто его воображение дорисовало все это – и белый зад, и белые ноги... Во рту у него пересохло.

– Вы что-нибудь видите? – спросила Вера. – У меня очень плохое зрение.

– Пожалуй... – сказал Тоскин.

– Ну, так скажите им. Скажите, чтоб они прекратили немедленно.

– Нет уж... – прошипел Тоскин. – Вы сами.

– Как же быть? Начальник... – в отчаянье прошептала Вера. И вдруг она шагнула вперед, крикнула: – Эй вы, кончайте там!

Возня под забором не прекратилась. Потом девичий голос ответил, прерываемый смехом и тяжкими усилиями:

– Это я, что ли? Я уже давно кончила...

«Нет, нет... голос не тот, – с облегчением вздохнул Тоскин. – Но я... что я тут делаю?»

– Пошли, – сказал он. – Как-то нам здесь...

– Правильно, – сказала Вера. – Завтра доложу директору – пусть он ее выгоняет. Тогда уж никто не скажет, что я виновата.

– Какая она? – спросил Тоскин.

– Да такая красномордая, с челкой. Наглая такая, ужас.

– Да, да... Конечно... Завтра... До завтра...

Они расстались у ее корпуса, и он преодолел соблазн зайти вместе с ней, посмотреть на спящих пионеров. Он боялся увидеть пустую постель. Он очень живо представил себе –

пустая подушка, провисшее казенное одеяло, не заполненное округлостью тела. Незнание мучило его, но страх был сильнее этой муки.

Когда он вернулся к себе в берлогу, отчаяние охватило его с новой силой. Конечно, это была другая девочка, такие есть всюду, наверно, бывали во все времена. Да и вообще – чего уж он так... Но рассуждения не помогали. Не исцеляли его горя. А с Верой... Все было так хорошо... Теперь ему казалось, что это невозможно. Ничто не возможно...

«Не надо печалиться, вся жизнь впереди», – сказал внутренний голос.

– Пошел ты знаешь куда... – мрачно пробурчал Тоскин, расстилая матрац, как всегда, ногами к Достоевскому, головой под стол. Впрочем, он не надеялся уснуть сегодня.

День прошел в непроходящей муке. Ему хотелось подойти к Вериному отряду, хотя бы посмотреть на Танечку – ему казалось, он все сразу увидит. И он боялся подойти. Боялся, что не увидит. Убедится в том, что ничего и увидеть нельзя, а значит...

Он не говорил с Верой ни о чем. Не подходил к ней. Он издали видел и ее, и ее отряд. Отряд выкрикивал речевки по дороге в столовую:

Раз, два —
Синева!
Три, четыре —
Солнце в мире.
Мы за мир,
И мир за нас...

В бодром хоре Тоскин не мог расслышать Танекиного голоса, но знал наверняка, что в этом хоре звучит и голос той самой вчерашней, подзаборной, и тех, которые ходят в вожатскую баньку за овраг.

Вечером мука неизвестности стала невыносимой и пересилила его страх. К тому же не пришла Вера. Это и огорчило его, и обрадовало. Он не долго думал над тем, что это значило. Не так уж ей хотелось, наверно. А может, она просто была тактичной – он не сказал ей прийти, и она не пришла. Скорее же всего, эта ее удивительная пассивность: он потянул ее за руку – и она упала, он не тянул, и она стояла на ногах.

После полуночи Тоскин оставил все попытки уснуть, оделся и направился в темноту, за овраг. Где-то там должна быть банька, та самая «хата», о которой он слышал, но которой не видел еще ни разу. Тоскин думал о том, что случилось бы, если б он тогда принял Славино приглашение. Воображение услужливо нарисовало ему сцену совместного пьянства, потом объятия пионерки – как знать?.. Едва нащупывая тропку, он спустился в овраг и вдруг недалеко среди кустов отчетливо различил огонек. Тоскин подошел чуть ближе и увидел, что это электрический свет пробивается через щель в досках. Вероятно, это был неплотно прикрытый ставень. Воображение предложило ему новый вариант... Он, Тоскин, рассеянно гладит по задку вчерашнюю красномордую пионерку, в то время как Слава тут же, рядом, стягивает с Танечки ее дешевые трусики... Тоскин застонал и продвинулся еще на несколько шагов по тропке. И вдруг он услышал музыку. Магнитофон. А может, проигрыватель. Музыка была мяукающая, сладкая. Она замерла, будто захлебнувшись в собственных соплях. Заиграло что-то знакомое. Откуда бы? Только услышав незабываемый припев: «Та-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра», Тоскин вспомнил, что это та самая песня о замечательном парне, который проживает на периферии и овладел какой-то полезной профессией: возможно, механик, возможно, строитель... Песенка на слова Шаферана, которого так нежно любит Танечка. Тоскин заскрежетал зубами, застонал... А потом вдруг услышал, что он не один в овраге. Кто-то осторожно шел по тропинке ему навстречу. Тоскин хотел спрятаться в кусты, но боялся надеть слишком много

шума: ведь его все равно не видно, только слышно. Вдобавок он обнаружил, что ему трудно сдвинуться с места. Ноги у него были как чужие.

Человек подошел совсем близко, вплотную, и Тоскин узнал сторожа.

– Вы туда? – сказал сторож. – А я оттуда. Выпил сто грамм – пошел по делам. А вам надоело, чай, одному-то сидеть, – сказал сторож с хитрецей, и Тоскин понял, что он уже знает про Веру (он тут, наверное, все знал). – Правильно, – сказал сторож. – Жить да молодеть, добреть да радоваться. Оно так и лучше...

– А там еще... еще в разгаре? – спросил Тоскин.

– А как же. Молодой месяц на всю ночь светит, – сказал сторож, и Тоскин понял, что он ничего больше не узнает, а главное – ему все еще страшно узнать. И еще понял, что ему трудно разговаривать с этим человеком, который был там и, может быть, видел...

Тоскин махнул рукой, прошел мимо сторожа, а потом присел под кустом во мраке. Когда шаги сторожа смолкли, Тоскин почти бегом вернулся к себе в берлогу.

«Уеду, – решил Тоскин. – Доживу день-два до закрытия смены – и уеду. Только бы хватило... дожить...»

Назавтра он встал измученный бессонной ночью и, не сумев придумать себе никакого занятия, пошел в отряд к старшим. Вера сидела в отдалении, на краю трибуны и читала книжку, которую два дня назад ей дал Тоскин. Отсюда, с трибуны, ей хорошо видны были ее пионерки, во всяком случае те, что не разбежались. Тоскин присел рядом с Верой и стал наблюдать. Он увидел Танечку и ее полногрудую подружку Тамару, но не сразу понял, чем они там занимаются, на крыльце, а поняв наконец, воскликнул, изумленный и растроганный, еще не веря своим глазам, хотя ему уже припомнилась идиотка-кукла, которую он видел у Танечки под подушкой.

– Это они что? Они в куклы, что ли, играют?

– Да, – равнодушно сказала Вера, не поднимая глаза от книжки. – Днем в куклы играют, как дети, не оторвешь... А ночью в баню бегают – как большие.

И продолжала читать, ничего не замечая вокруг. К счастью, не замечая. Тоскин, с трудом справившись со странной хрипотой в горле, с непонятным зудом в левой руке, с приступом тошноты и страха, все же пересилил себя и спросил задвленно:

– Неужели и эти, маленькие?

Вера бросила взгляд на детей и тут же вернулась к книге, не заметив ни его тона, ни его смятения:

– Ну да, а кто ж? Все они тут маленькие...

И Тоскин, уже приготовившись к бегству, к гибели, все же сделал последнюю попытку уцелеть, выплыть на поверхность, уцепиться за последний островок суши:

– И Танечка... тоже...

– Да, – сказала Вера, вставая, – Танечка и эта вот подружка ее, они самые первые в баню и пошли. Так поглядишь – ни за что и не поверишь. Куколки, хиханьки... А ну, Ахмеджанов, оставь кошку! Сейчас же оставь!

Вера убежала в палату, где, судя по кошачьему истошному воплю, Ахмеджанов проводил какой-то мучительный, хотя, может быть, и ценный для науки эксперимент над кошкой. А у Тоскина, который остался один на краю трибуны, была теперь только одна, но очень важная, жизненно важная задача: уйти, добраться по возможности невидимым, незамеченным до своей берлоги – добраться любой ценой... Но как раз эту ничтожную малость ему оказалось очень трудно осуществить, и вдобавок... вдобавок еще Танечка – вдруг отложила куклу и подняла на него огромные свои, блестящие глаза... К своему ужасу и смущению, Тоскин прочел в этом взгляде благожелательность, интерес и даже симпатию, да, симпатию, и это наконец обратило его в бегство, которое спасло его, помогло ему добраться до своей берлоги как раз вовремя, потому что едва он успел закрыть за собой дверь, как силы его оставили – и он заплакал...

Горе его было таким истинным, таким безграничным, что временами он находил себе горькое утешение в мысли, что настоящая любовь наконец-то постигла его, что он оказался способен на такую любовь. Но зато по временам, воображая, как она в первый раз пришла в ту баню, как она выпила водки, как она нежилась, слушая любимого Шаферана, как этот мерзавец Слава... Или может быть, этот мерзавец Валера. А может, это был кретин-физкультурник... Тоскин скрежетал зубами и начинал подозревать, что он способен на самую страшную месть, как какой-нибудь настоящий кабардинец. Или даже корсиканец. Но он не был ни кабардинец, ни корсиканец – он был русский интеллигент, к тому же еще отчасти и писатель (может быть, даже детский), и у него между самой пылкой мыслью, порывом и самым незначительным делом протянута была длинная и, пожалуй, не очень прочная цепь – размышлений, выводов, побочных наблюдений... Цепь эта, разъеденная ржавчиной сомнений, рефлексии, скепсиса, обрывалась где-то на середине, и тогда Тоскин с трудом собирал ее разрозненные звенья, начиная от нового порыва ярости или ревности или, наоборот, от воспоминания о Танином сегодняшнем взгляде. Однажды, в самый разгар этих мучительных построений, Тоскин услышал вдруг на аллее Маленьких Разведчиков голос Славы и, приведя себя в порядок, выбежал ему наперерез, еще не придумав даже, что он скажет и с чего начнет...

Слава шел после очередной стычки с враждебным ему племенем пионеров и, разгоряченный этим сражением, с ходу взял Тоскина за уцелевшую пуговицу на рубаше и стал рассказывать.

Из его бессвязного рассказа Тоскин понял, что пионеры вынесли спящего (и, очевидно, сильно нетрезвого) Валеру из спальни, вместе с кроватью (Тоскину представлялась при этом иллюстрация из свифтовского «Гулливера у лиллипутов»), и отнесли – это ж надо! – на линейку; священное для всякого пионера...

При этом сообщении Слава окончательно потерял связность речи и начал ругаться:

– У, бля, как надоели, врот пароход, всех бы к стенке. Или вон, в овраг...

– В Бабий Яр! – выдохнул Тоскин, с ненавистью глядя на Славу.

– Хоть в Бабий, хоть в какой. Они думают, это для меня большое дело – тут вожатым. Это же я согласился, потому что друзья попросили. У меня не такие планы. Не на то способен. Я приеду, ребята меня к себе заберут, в райком, а еще год-два...

Тоскин уже не в первый раз слушал эти Славины рассказы о будущей карьере и давно понял, что именно это стремление к дальнейшему росту, к какой-никакой, а карьере переводит Славу из числа простых жлобов в разряд «интересных людей», имеющих «цель в жизни», в разряд «идейных» или каких там еще... Так что, может быть, выпивка в Славиной компании проходит по рубрике «Встречи с интересными людьми», как знать?

– Представляешь? – Тоскин вернулся к действительности и понял, что Слава еще не кончил. – Насрать на линейке? Самое святое, что может быть у пионера... Но ничего! Я найду этого засранца. Я заставлю его уважать нравственный кодекс строителя, который у нас есть...

«Да, да, – вспомнил Тоскин. – У него есть нравственный кодекс. Кодекс строителя. Со списком стройматериалов».

– Он у меня три года собственным дерьмом плевать будет, потому что ведь я его заставляю... Он у меня свое вылижет. Языком вылижет... – Тоскин кивнул, преодолев тошноту. – Да, да, вылижет, – сказал Слава, ликуя, – так что не грусти, старик...

Как только Слава отпустил его пуговицу, Тоскин пустился наутек, но, отдышавшись, отметил, что еще на бегу он успел придать себе вид не просто ошалевшего, но и очень занятого, очень загруженного человека. С тем же видом крайней занятости Тоскин ворвался в свою берлогу, едва прикрыл дверь – и лег на пол. Он стал придумывать достойную казнь для Славы, заодно и для Валеры, на всякий случай также для физкультурника. Сказать по правде, никогда еще Тоскин не был в своих занятиях так близок к «литературе». Одной из самых ужасных казней, придуманных Тоскиным для Славы, была старость (казнь эта была удобна, так как не тре-

бовала от Тоскина палаческих усилий): когда Слава уже не сможет «заниматься этим», когда он не сможет танцевать и проводить зарядку – куда он денется, пустой, бездуховный, алчный? Чем он себя займет, пьяный, сморщенный, тупой?.. Эту мысль Тоскина омрачала невозможность для него присутствовать при казни – вряд ли он переживет Славу...

Уединение Тоскина нарушила повариха. Она вторглась без стука и сказала, глотая слезы, что детишки засыпались и теперь эта сука мучает мальчика.

– А он ведь такой... такой... – повторяла она, всхлипывая. – Весь в отца... Когда я говорила ничего не говори, дак он ей ляпнул. А теперь, когда она говорит скажи, он ни в какую.

Тоскин стал одеваться. Повариха горько плакала. Чужое горе помогло Тоскину выйти из неподвижности.

– Что она хочет узнать?

– Ну это... кто его регистрировал?

«Еще не легче», – сказал внутренний голос Тоскина.

Одевшись, он на всякий случай закопал свои «Книги регистрации» под кучей бумажного хлама.

– Я начальнику боюсь говорить – у него, бедного, и так с девчонками неприятности, а тут на тебе, младший отряд... А у него печень...

– Хорошо. Попробую, – сказал Тоскин.

– Вы уж пожалуйста, Кстатин Матвейч, – простонала повариха. – Они вас так детишки любят, так любят...

Тоскин внимательно посмотрел на нее. Если она и льстила ему, то невольно. У него впервые за сутки чуть-чуть отлегло от сердца.

– Хорошо. Вы идите. Я что-нибудь попробую, – сказал Тоскин.

Через раскрытое окно веранды Тоскин услышал громкий голос Валентины Кузьминичны:

– Значит, ты не хочешь сказать, кто тебя зарегистрировал? И ты не боишься меня огорчить, Сережа? Вот видишь, боишься...

«Я и сам тебя боюсь, крокодил», – подумал Тоскин.

– Вспомни Павлика Морозова, – сказала Кузьминична. – Этот мальчик не побоялся выдать своего родного отца. А ты...

– А я... А я... – Сережин голос дрогнул. – А я как Руслан Карабасов. Он никого не выдал.

«Как хорошо, когда есть выбор, – подумал Тоскин. – Но право, мне уже пора вмешаться...»

Тоскин вошел и сказал сладким голосом:

– О, у вас какой-то диспут... Ну, я не буду мешать. А-то я как раз хотел прочитать детишкам поэму «Дети Памира». Причем это даже не про детей, а про Ленина...

– Ах, про Ленина, – сказала Кузьминична. – Это очень важно. А кто автор?

«Все равно ты не запомнишь, клизма», – подумал Тоскин и произнес со значением:

– Мирсайд Миршакар, лауреат, ученик Мирзо Турсуна-заде, лауреата двух премий.

– Ну как же! Как же! – всплеснула руками Кузьминична. – Пожалуйста. Садитесь. У нас, признаюсь вам в узком кругу, неприятность. Дети так редко меня огорчают, а тут...

– Что же случилось?

– Сережа сказал, что он зарегистрировал свой брак, вы представляете...

– Это же прекрасно, – сказал Тоскин вполголоса и склонился к Кузьминичне, имитируя интимную доверительность. – Вы поглядите, как у него развито воображение. Это признак эстетического воспитания. А его пример с Русланом Карабасовым – я был невольный свидетель – это было прекрасно. Советский писатель Пантелеев написал рассказ про такого мальчика. Вы молодец. Вы говорите, что они редко вас огорчают? Отчего?

– Да так, – сказала Кузьминична. – Они меня любят.

Она сказала это очень просто, без фальши. Тоскин поверил ей и расстроился. Значит, их любовь так же слепа... А значит, любить их так же абсурдно, так же бесперспективно, как любить женщину...

– К тому же я методику знаю и педагогику, – продолжала задумчиво лошадь. – Знаете, их обмануть очень трудно. Для этого существует методика. Мы это, конечно, изучали в вузе, но уж на практике до всего сам доходишь. А эти трудные дети, их еще легче обмануть...

Все это было обидно. И Тоскин, переживший за последние сутки достаточно разочарований, решил не слушать больше про эту методику обмана. Излив на Кузьминичну последний вымученный комплимент, он попросил разрешения перейти непосредственно к поэме о детях Памира и, получив это разрешение, очутился наконец нос к носу со своей возлюбленной аудиторией. Валентина Кузьминична прервала его еще только один раз, чтобы уточнить труднопроизносимую фамилию поэта, а также спросить, как он считает, по какой рубрике это можно записать: «Писатели – любимцы народа», «Лауреаты ленинско-государственных премий» или по рубрике «Встречи с прекрасным». Тоскин посоветовал внести эту беседу во все три рубрики и обещал четко разграничить эти три темы своего рассказа как не имеющие ничего общего. Он и в самом деле не был уверен, имеет ли эта поэма отношение к миру прекрасного, поэтому, лишь скупно упомянув о писателе – любимце народа (честно говоря, он не сразу припомнил, любимцем какого народа считался этот поэт), Тоскин стал рассказывать о таинственном Памире – о тропах, оврагах, верных исмаилитах, карликовых полях на уступах скал, горных катастрофах, архагах, мистических обрядах, и о детях, конечно, тоже...

Тоскин видел широко открытые глаза, пока еще раскрывавшие, а не скрывавшие намерения и мысли их владельцев, – и мало-помалу жалкие страдания ревности уходили из его души. Он не ревновал больше к задастой Кузьминичне, ведь и на его долю выпало сегодня так много детской любви, а она... В конце концов, она тоже могла любить их, и она с ними немало возилась. Жаль, конечно, что она уводила их прочь от нынешнего их состояния, от его любви. Но ведь и все в этом мире, каждый новый год их жизни уводил их прочь от их теперешней чистоты, непосредственности, таланта, обаяния, делал их существами, любить которые бывает так трудно... Каждый новый год. Даже этот первый их год, проведенный в школе... А что же тогда говорить о тех, кто провел там восемь и даже девять суровых лет. И что говорить о взрослых...

До ужина оставалось еще полчаса, и Тоскин повел малышей погулять немного – за ограду, туда, откуда открывался вид на речку, на дальнее поле, на еще более далекий лес. Сережа сжимал его руку, а Наташа тянулась за Сережей. Тоскин остановился на бугре, за оградой. Был его любимый час предвечернего угасания, когда все окрашено в драгоценный золотой цвет и так боязно расплескать драгоценные миги краткого угасающего дня, краткой угасающей жизни...

– А когда Сережа туда смотрит, он грустный-грустный, – сказала Наташа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.